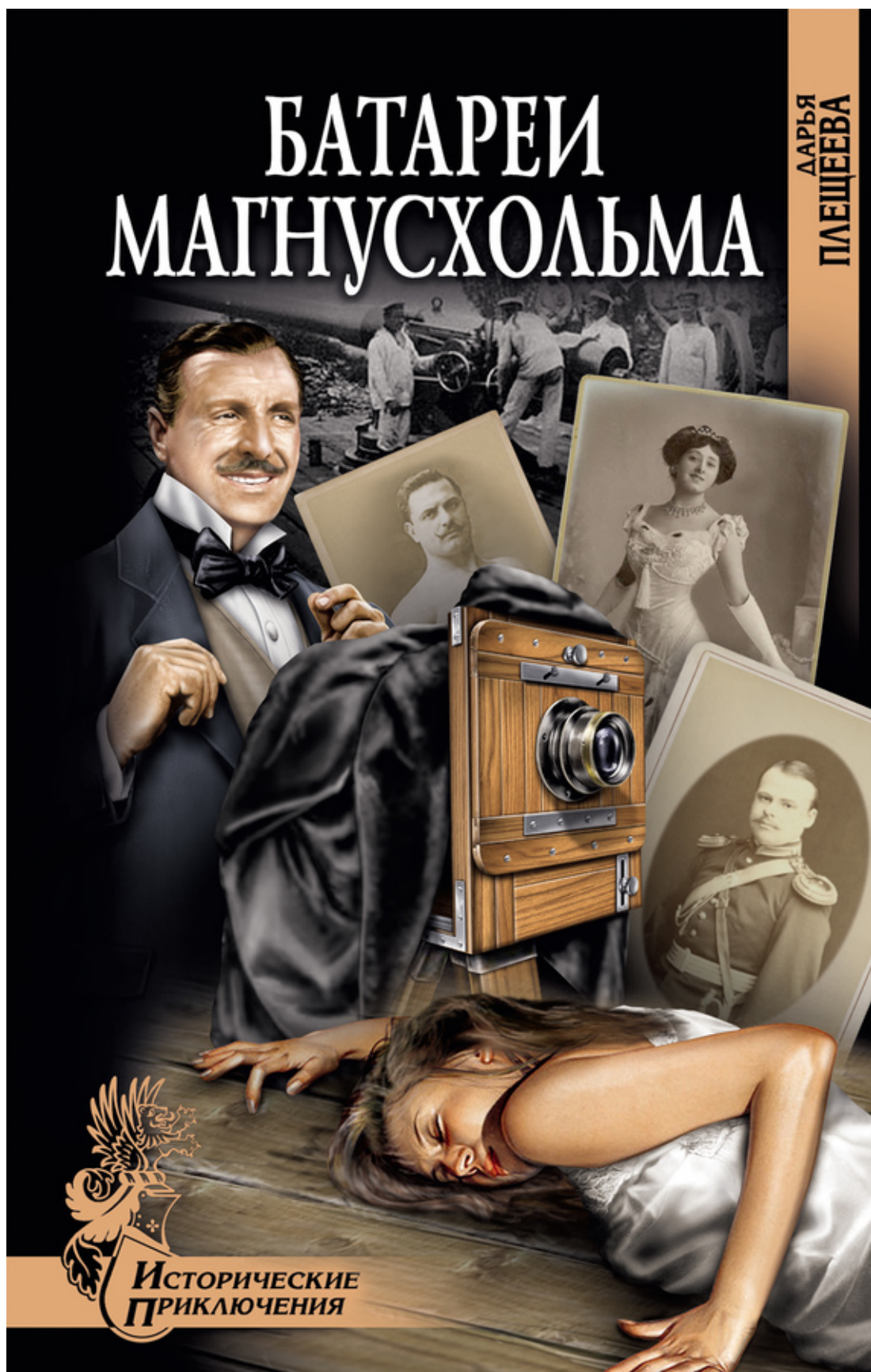


БАТАРЕИ МАГНУСХОЛЬМА

ЛАРЬЯ
ПЛЕЩЕЕВА



ИСТОРИЧЕСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ



Дарья Плещеева
Батареи Магнусхольма
Серия «Два Аякса», книга 2
Серия «Исторические приключения (Вече)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10942009
Батареи Магнусхольма / Плещеева Д.: Вече; Москва; 2014
ISBN 978-5-4444-7532-4, 978-5-4444-2335-6

Аннотация

1913 год. Бывший полицейский инспектор Александр Гроссмайстер волей случая становится агентом российской контрразведки под звучным именем Лабрюйер. Его задание – быть владельцем солидного фотографического заведения, которое на самом деле – база контрразведчиков. Не за горами война, и поблизости от Риги, на Магнусхольме, строятся новые укрепления. Австро-венгерская разведка «Эвиденцбюро» прислала своих людей, чтобы заполучить планы укрепрайона. Плетутся интриги, используются достижения технического прогресса, пускают в ход свои чары роковые соблазнительницы... Лабрюйер неопытен, недоволен начальством и товарищами, попадает в странные ситуации, но именно ему удастся раскрыть шпионскую сеть и получить самый ценный приз...

«Батареи Магнусхольма» являются прямым продолжением романа «Аэроплан для победителя».

Содержание

Пролог	4
Глава первая	11
Глава вторая	19
Глава третья	27
Глава четвертая	35
Глава пятая	42
Глава шестая	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Дарья Плещеева

Батареи Магнусхольма

Тебе, Д., – с любовью.

Пролог

Казалось, даже портрет императора Франца-Иосифа над столом господина Ронге изменился в лице: царственный старец словно бы чуть подался вперед из своей золоченой рамы, как живой человек, услышавший какую-то невозможную ахинею и ушам своим не поверивший. Если бы Ронге обернулся – увидел бы в императорских глазах изумление пополам с негодованием.

Но полковник Максимилиан Ронге, молодой директор Эвиденцбюро, военной разведки Австро-Венгрии, оборачиваться не стал – ему и собственного удивления хватило.

Пауза длилась минуты полторы, не меньше.

– Это Россия, – сказал наконец Ронге. – Это Россия, иначе и быть не могло... безумная страна...

Стоявший перед ним подчиненный, известный под фамилией Зайдель, а настоящая затерялась в бумагах, покивал: да, именно что безумная, и он, входя в кабинет с донесениями, сам это прекрасно знал.

– Даже немцы, даже немцы, и те... – Ронге не закончил фразы, но Зайдель понял: даже рижские чиновники-немцы, просто обязанные быть аккуратными и дотошными, поддались общей безалаберности; странно, однако результат – налицо, вот донесения...

– Только в России такое возможно... как еще только продержалась триста лет эта страна... – пробормотал Ронге. – Что из этого следует?

– Наша задача немного усложняется, господин Ронге.

– Да. Всякого я мог ожидать, но такого!..

Зайдель усмехнулся: хотя начальство, невзирая на молодость, отменно владеет собой, но этакая новость хоть кого ошарашит. Сам он, получив зашифрованные донесения от Пуделя и Бычка, глазам не поверил. Но в шифровальном отделе подтвердили: ошибки нет.

– Итак, – сказал Ронге, – все великолепие и вся воинская доблесть нашего будущего противника – налицо. Он мне напоминает старого охотника, который любит похвалиться былыми трофеями, но навеки позабыл, куда засунул винтовку и нож. Ей-богу, воевать с таким противником – все равно что ребенка обижать... Но придется. Кто у нас сейчас в Риге?

– Никого, Пудель был вынужден уехать, но в Кракове ждет распоряжений Атлет, господин Ронге. И я рекомендую направить туда Щеголя. Они оба вовлекли в сеть агента, которого Щеголь пока называет Дюнуа. Это шутка, господин Ронге. После костюмированного бала...

– Я учил в гимназии средневековую историю, Зайдель. Дюнуа – Орлеанский Бастард, сподвижник Жанны д'Арк... Пусть будет так, имя забавное. Я читал донесение Атлета. Именно такой агент нам необходим – с подпорченной репутацией, но прекрасного происхождения и со связями в высшем свете. А сейчас сформулируем задание. Поскольку головы нашего будущего противника, проявив чудеса разгильдяйства, где-то за полвека потеряли планы береговых укреплений времен Крымской войны на Магнусхольме, и по этой уважительной причине нам не удалось их даже увидеть, а не то чтобы скопировать, сделаем так...

– Я слушаю, господин Ронге, – Зайдель изготавился записывать.

– Нет, потерять такие планы могли только в России... – Ронге все никак не мог успокоиться.

– Пудель доносил – эти укрепления, хотя они и стары, строились на совесть и в будущей войне тоже смогут надежно прикрыть Ригу от морского десанта. Как прикрыли во время достопамятной Крымской войны.

– А что там на левом берегу? Ведь должны быть укрепления.

– Там крепость Дюнамюнде, построенная бог весть когда.

– И что, тоже потеряны планы? За ненадобностью?

Это была шутка, и Зайдель вежливо улыбнулся.

– Нет, господин Ронге, как раз на нее возлагаются большие надежды. Особенно после того, как ее два года назад посетил русский император. Там много полезного – гавань для зимней стоянки судов, телеграфная линия, железнодорожная ветка от Риги. Кстати, Дюнамюнде в Крымскую войну тоже усердно палила по англичанам и не пустила их в устье Западной Двины. У нас есть планы крепости со всеми ее бастионами и фортом Комета. Но они устарели – сейчас там идет большое строительство. Работы начаты летом. Насколько могли судить наши агенты, ее изменят до неузнаваемости. Но Пудель полагает – работы будут вестись более открыто, чем на полуострове.

– Он не мог узнать подробнее о батареях Магнусхольма?

– Только то, что всем известно, господин Ронге. Поскольку на Магнусхольме приступили к строительству новых укреплений, проникнуть туда весьма сложно. Вот, извольте...

Поскольку Ронге готовился к этой беседе, то и лежала на столе карта – устье Западной Двины с Ригой на правом берегу и теми из островов, что ближе к заливу.

Зайдель взял карандаш вместо указки и ткнул в середку полуострова.

– Это – Магнусхольм. В давние времена он был островом, отсюда название. Сейчас – полуостров. Вот – старица Западной Двины. Река проложила себе новое русло, и мы имеем почти правильный треугольник. Одна сторона – берег Рижского залива, другая – берег старицы, третья – правый берег Западной Двины. Попасть на полуостров можно по мосту через старицу и по узкому перешейку на севере – там, где раньше Двина впадала в море. Еще – пароходами. Небольшие пароходы курсируют от пристаней возле Двинского рынка в Мюльграбен, дальше – в Вецакен, это дачный поселок, от коего до перешейка чуть более полумили, и это следует учесть. В Вецакене и дальше, в Нейбаде, хорошие пляжи. Пароход огибают Магнусхольм и следует вдоль берега, вот так, к Вецакену...

– Куда еще идут пароходы?

– Через Двину, потом по протоке, именуемой Зунд, в Агенсберг, Ильгедию и дальше, выйдя в Двину, – до Дюнамюнде и на Рижский штранд, – острие карандаша проложило маршрут. – Для обывателей очень удобно.

– Понятно. Итак, Магнусхольм.

– Место пустынное. Кое-где стоят рыбацкие хижины, вот тут, – карандаш ткнулся в двинский берег Магнусхольма. – Населения – хорошо если сотня человек. То есть каждый чужак заметен. А теперь за этим особо следят. И этот поселок довольно далеко от строительства новых батарей...

– Да. А старые батареи, очевидно, стояли где-то тут, – Ронге провел пальцем вдоль береговой линии. – Или ближе к самому устью, чтобы прикрыть Ригу от морского десанта... Еще во время наполеоновских войн поставили форт Кометский на левом берегу и Магнусхольмскую батарею на правом берегу. С них и палили в Крымскую войну. Очевидно, что их будут перестраивать и усовершенствовать.

– Так...

– Нужно также считаться с тем что полуостров болотистый, и не всюду можно ставить каменные строения. А мы, глядя на карту, не можем определить, где пригорок, где мокрая

ложбинка. Равным образом мы не знаем, что будет употребляться для строительства фундаментов батарей. Старые ставились на фундаментах из бутового камня, но для мощных орудий он недостаточно прочен. А если они возьмут фортификационный бетон, то ведь он тоже не всюду годится. Я знаю, что современные укрепления имеют толщину стен до тринадцати футов. Значит, выбирая места для батарей, еще и это будут иметь в виду. И их расположение может не соответствовать обычной фортификационной логике.

– Да, задачка...

– Кроме того, все это – лес, – карандаш обвел чуть ли не весь треугольник. – И в лесу будут ставить артиллерийские склады и все, потребное для батарей и их личного состава. Если предположить, где встанут батареи, еще можно...

Зайдель потыкал карандашом в побережье.

– То угадать, где наш предполагаемый противник вздумает разбросать склады, совершенно невозможно, – закончил его мысль Ронге. – А строительство уже началось.

– Так что Пудель при всем желании не мог попасть на этот полуостров, господин Ронге. И винить его за это нельзя.

– Сотня жителей?

– В лучшем случае.

– Черт бы их побрал...

Зайдель покачал головой. Он понимал, отчего сердится Ронге.

Есть старые добрые способы добычи сведений. Этим способам обучали самого Зайделя, они более или менее надежны. Подкупить нужного человека, чтобы принес важные бумаги с картами и цифрами, выкрасть портфель с документами, затеять маскарад – в облике того же лифляндского рыбака прогуляться по Магнусхольму и, вернувшись, аккуратно зарисовать то, что удалось уложить в тренированную память...

Но использовать причуды и затеи так называемого прогресса?

Зайдель знал – даже самые простые и надежные технические устройства непредсказуемо ломаются в самую неподходящую минуту. Испытанные, прочные, которые, казалось бы, и нарочно не поломаешь – разлетаются в мелкие дребезги. А тут – аппарат с множеством всяких винтиков, пружинок и, наверно, шестеренок.

Что может быть ненадежнее маленького и сложного аппарата?

Тут Ронге и Зайдель были одного мнения. Однако выбирать не приходилось.

– Зайдель, он там не заснул? – пошутил Ронге. – Разбудите его и приведите.

Зайдель вышел и вернулся с мужчиной лет тридцати двух, невысокого роста, в потертом пиджачке и несколько испуганным. Он держал в правой руке старый бурый саквояж, в левой – древний чемодан.

– Садитесь, пожалуйста, – сказал посетителю Ронге. – Ханс Клаувиц?

– Да, господин Гомберг, это я.

– Садитесь же. Вы хорошо доехали до Вены?

– Да, господин Гомберг.

– Гостиница вам понравилась?

– Да, господин Гомберг.

– Деньги на карманные расходы вы получили?

– Да, господин Гомберг. Я могу отчитаться...

– Не надо.

Денег Клаувицу было выдано двадцать крон – как раз позавтракать и пообедать, конечно, не в «Двенадцати апостолах», но мало ли в Вене кондитерских и погребков с разумными ценами. Пока что, вместе с билетом на поезд «Франкфурт-на-Майне – Вена» и оплатой информаторов, которых привлекли агенты Эвиденцбюро, эта авантюра обошлась Максимилиану Ронге в сто десять крон.

Клаувиц деликатно, как ему казалось, примостился на краешке стула. Саквояж он поставил на колени и вцепился в ручки мертвой хваткой.

– Итак, поговорим о деле. Покажите мне этот аппарат.

Клаувиц достал из саквояжа коробку, порылся в ней, выложил на стол маленькое, со спичечный коробок величиной, устройство.

– Надо же, до чего мы дошли. Скоро изобретут фотографические камеры размером с пуговицу, – сказал Ронге. – Сколько это весит?

– Чуть больше двух унций, господин Гомберг.

Ронге потрогал пальцем миниатюрную фотокамеру, изобретение доктора Юлиуса Нейброннера.

– Ну что же, сделаем опыт, – сказал он. – Заводите свою адскую машинку.

– Не возьму в толк, как там помещаются пластины, – пробормотал Зайдель.

– Пластины – это прошлый век, в нынешние аппараты вставляют рулоны пленки, – сказал Ронге. – Но все равно непонятно, куда помещается рулон. А, Клаувиц?

– Тут особая пленка, я знаю, кому ее заказывать в Леверкузене. Там недавно завод построили... и, в общем, можно заказать узкую пленку... если заплатить...

– Это само собой. Приступайте.

Клаувиц поколдовал с аппаратом, покрутил объектив.

– Вот, тесемочки, крест-накрест... Я могу надеть на руку. Надеть?

– Давайте.

Клаувиц нацепил аппарат на правую кисть, подогнал тесемки и щелкнул кнопками.

– Итак? – спросил Ронге.

– Я сейчас буду ходить по вашему кабинету, господин Гомберг. Вот, извольте видеть, два объектива. Один спереди, другой внизу. Вот тут расположен часовой механизм, совсем маленький, от дамских часиков, от Картье, я купил за свои деньги... Снимки будут делаться автоматически, каждые тридцать секунд. Но время можно выставить какое пожелаете. Потом я, если будет угодно...

Клаувиц посмотрел на чемодан.

– Да, для вас подготовлена темная комната, – сказал Зайдель. – И там есть проточная вода. Приступим, господин Гомберг?

– Приступим. Начинайте, Клаувиц.

В течение трех минут Клаувиц ходил по кабинету взад и вперед, поднимая руку то в сторону, то вперед. Ронге и Зайдель молча следили за этими маневрами.

– Запас пленки выработан, господин Гомберг, – сообщил Клаувиц. – Прикажете проявлять?

– Да, конечно. Реактивы, как я понимаю, в чемодане?

– Да, господин Гомберг.

– Ну, ступайте.

Зайдель увел Клаувица и вскоре вернулся.

– По-моему, он безбожно глуп, – сказал Ронге.

– У него хватило ума тайком сделать чертежи и детали, господин Ронге. Я думаю, в любой мастерской, где Нейброннер разместил бы заказ, нашелся бы такой Клаувиц и собрал для себя копию. Такой неприметный тихоня Клаувиц, на которого ввек бы никто не подумал... И обойдется нам это совсем недорого. Покупать аппараты у Нейброннера – дороже бы вышло, да и опасно...

– Если учесть, что Юлиус Нейброннер два года назад проводил опытные съемки с самолета в России...

– Так что я правильно поступил, господин Ронге?

– Абсолютно правильно – нам как раз и был нужен нищий чужак с психологией мелкого воришки. Он женат?

– Кто бы за него пошел...

– Есть среди наших служащих особа лет тридцати пяти, приятной внешности, которая могла бы составить при необходимости его счастье?

– Вы имеете в виду – особа, которая уже не может выполнять более сложные и, так сказать, дамские задания?

– Да, из простых.

– Найдем.

– Если все действительно так хорошо, как мы надеемся, если эта камера способна делать с высоты качественные снимки, как утверждает Нейброннер... То пусть Клаувиц вернется с этой особой к себе домой, во Франкфурт-на-Майне...

Зайдель взял блокнот и стенографическим способом стал записывать указания начальства.

– Пусть эта особа познакомится с хозяином мастерской, втолкует ему, что Клаувиц женится на ней и переезжает... ну хоть в Нюрнберг, что ли... И пусть смотрит, чтобы он не вступал в душевные разговоры ни с кем в мастерской. Если Нейброннер догадается, что какой-то Клаувиц, который умеет только отверткой орудовать, догадался скопировать его аппарат, да еще предложил нам, считайте, что план провалился.

– Я все это понимаю, господин Ронге.

– Более того – если мы спугнем Нейброннера, об этом узнает не только российская разведка. Нейброннер просто разместит свои заказы в другой мастерской. А пока аппараты ему делают во Франкфурте-на-Майне, есть шанс, что мы будем узнавать о нововведениях. Может же Клаувиц раз в полгода приезжать с женой и угощать пивом старых приятелей?

– Именно так, господин Ронге. Осталось только подождать результата.

– Долго он там будет возиться?

– Понятия не имею. Эти пленки нужно сперва держать в проявителе, потом в закрепителе, потом еще что-то с ними проделывать. Придется ждать, господин Ронге. И если Клаувиц наобещал того, чего выполнить не сможет, отправить его во Франкфурт-на-Майне ночным поездом... или не отправлять?

Зайдель не заглядывал в глаза Ронге, всем видом показывая ожидание ответа; он просто занялся стопкой газет, а Ронге уставился на исчерканный листок.

Где гарантия, что Клаувиц, за непригодность к делу возвращенный во Франкфурт-на-Майне, не пойдет рассказывать всем соседям о путешествии в Вену?

Император на портрете чуть заметно покачал головой – ну что же, одним Клаувицем больше, одним Клаувицем меньше, Макс Ронге не станет мучиться угрызениями совести, Макс – умница, побольше бы таких, преданных трону и лишенных всякой сентиментальности.

– Опять им нейдет, – проворчал Зайдель, адресуясь к настольной лампе. – Одна лишь «Корреспондент-Вильгельм» пишет, что состояние государя императора отличное и что он ежедневно принимает доклады и дает аудиенции. Остальные пытаются ставить Его Величеству врачебные диагнозы. И что с ними делать?

– Ничего, – буркнул Ронге. – У народа должно быть развлечение. Пусть кумушки сравнивают диагнозы и решают, где вранье, где правда. Это лучше, чем если бы они обсуждали наши сербские дела.

– Именно так.

Сербия была большой бедой Австро-Венгерской империи. Под боком у империи заварилась кровавая каша, соседи-албанцы требовали самостоятельности, бунтовали против хозяев-турок, а сербское правительство, оказав неожиданную стойкость, ввело в Албанию

свои войска, и выяснилось вдруг, что грозить ему войной бесполезно. Загадочной казалась Зайделю и Ронге позиция России; между Веной и Санкт-Петербургом шла тонкая дипломатическая игра, и вроде Россия уже почти отказалась поддержать требования Сербии насчет албанских территорий, но настаивала на том, что сербы должны иметь свой выход к Адриатическому морю, а какой же выход без своего порта?

Ронге и Зайдель флегматически толковали об этом, чтобы убить время. И чтобы раньше времени не думать о судьбе Клаувица – в том случае, если он не сумеет сделать снимки. Чемодан с реактивами – это всего лишь чемодан с реактивами, и знает ли неудачник из механической мастерской, как с ними обращаться, – большой вопрос.

Наконец Зайдель пошел узнавать, как обстоит дело. Он вернулся с Клаувицем и с подносом, на котором лежали крошечные мокрые фотографические карточки.

– Это надо смотреть через проектор, при большом увеличении, – сказал он, – но, кажется, получилось довольно отчетливо. Тут шкаф, тут окно. Если мы получим фотоснимки примерно такого качества...

Он выразительно замолчал.

Ронге долго смотрел на поднос.

– Да, – наконец сказал он. – Это было бы неплохо. Ну, Клаувиц, обсудим условия. Вы беретесь изготовить десяток таких аппаратов. Хорошо бы парочку сделать, скажем, в виде дамской пудреницы или чего-то эдакого... чернильницы, к примеру, у которой крышка прикрывает объектив... Мастерская будет оборудована в соответствии с вашими требованиями. Потом появятся еще заказы. Жалованье для начала – триста крон в месяц. Такой доход имеет почтенный венский булочник или портной. Дальше будет видно.

Клаувиц устоял на Ронге с восторгом, рассыпался в бессвязных благодарностях, и его насилу удалось выпроводить.

– Ну, стало быть, решено. Зайдель, проследите, чтобы в гостинице за нашим механиком был хороший присмотр. И завтра командуйте к нему вышеупомянутую особу.

– Будет сделано.

– Мастерскую устройте где-нибудь в Леопольдштадте. Затем – наладить присмотр за Нейброннером. Мало ли что ему еще придет в голову.

– Будет сделано, господин Ронге.

– Вернемся в Ригу. Пуделю, значит, уже наступили на хвост... Ничего, ему найдется дело во Львове, в нашей резидентуре, он ведь опытный вербовщик. Пусть отдыхает и школит новобранцев. Сколько ему исполнилось?

– Я запрошу его дело в архиве... – Зайдель задумался. – Сорок пять или сорок шесть...

По лицу Ронге Зайдель прочитал краткую мысль: староват, староват... И что еще должен подумать, услышав эти цифры, мужчина, которому нет и тридцати?

Сухопарому, подтянутому Зайделю было за пятьдесят, но он отчаянно держался за свою военную выправку, за разворот плеч и особую удалую манеру выпячивать грудь; как знать, может, они помогают скинуть хоть десяток лет? Что касается Ронге – тот был строен уже не по-юношески, а как мужчина, не пренебрегающий манежем и фехтовальным залом. Он нравился дамам – очевидно, чуяли горячую венгерскую кровь, глядя на сухое лицо, глубоко посаженные внимательные глаза, нос с горбинкой. Был ли в роду у начальства хоть один венгр – Зайдель доподлинно не знал, но рассуждал так: Ронге бывает педантичен, как прусский служака, но иногда склонен к авантюрам, как мадьярский разбойник-бетяр, вот и сейчас – что, как не авантюра, вся эта затея с фотографической камерой Нейброннера?

Да и недавняя рижская история тоже на поверку оказалась авантюрой. Хотя все шло гладко и попытка похищения русских авиаторов, перестраивавших обычный «фарман» в самолет-разведчик, практически удалась... В последний момент вмешались русские, в последний момент! И даже непонятно, кто вмешался. Пудель, побывавший впоследствии на

Солитудском ипподроме, превращенном в аэродром, доносил: возникли из мрака и исчезли во мраке, а ночное преследование самолета двумя всадниками по описаниям очевидцев вообще похоже на сцену из дешевого народного романа.

Вроде бы Ронге – шлезвигский род, думал Зайдель, но под кем только не был этот Шлезвиг, и под Данией, и под Пруссией, и под Австрией, и кто туда только не залетел полвека назад, в буйную военную пору, поди теперь разберись...

Ронге меж тем принял решение и выстроил план первых действий.

– В Риге должны жить и вращаться в свете Атлет, Щеголь и Дюнуа, – сказал он. – И кого вы рекомендуете им в помощь?

– У Щеголя есть жена, Клара, если помните. Два года назад родила сыночка и теперь могла бы воссоединиться с супругом. Супружеская пара, как вы понимаете...

– Правильно, Зайдель. Супружеская пара непобедима. Особенно если дама не обременяет себя устаревшей моралью...

– До свадьбы, говорят, не обременяла.

– Тем лучше. Затем – доставьте ко мне Птичку.

– Будет сделано, господин Ронге.

– Атлет, Щеголь, Дюнуа, Клара, Птичка... Еще Бычок, но его без особой нужды трогать не будем... Хватит, пожалуй. К счастью, о способе появления в Риге думать не придется – способ на сей раз отмененный...

– Именно так, господин Ронге.

– Хотел бы я знать, отчего сорвалось то дело и где теперь Альда.

Зайдель вздохнул – он тоже не знал, куда спрятали Альду, а главное – кто спрятал, и в зависимости от этого – какими сведениями она поделилась.

В том, что женщина была жива, ни Ронге, ни Зайдель не сомневались.

После того как попытка выкрасть с Солитудского ипподрома-аэродрома авиаторов и конструкторов потерпела крах, Ронге, естественно, попытался выяснить судьбу своих агентов – Тюльпана, Кентавра и Альды. Пудель узнал, что Кентавр и Тюльпан были взяты живыми, причем Тюльпан – настолько тяжело ранен, что, возможно, уже приказал долго жить. Альда же исчезла – и, насколько Ронге понимал ее натуру, исчезла за солидное вознаграждение. Ее могли загнать в угол и перекупить русские. В Риге были замечены французские агенты – это могло оказаться их рук делом. Человек, для рижских дел взявший себе имя господина фон Эрлиха, красавец и прекрасный наездник, проявлял к Альде особый интерес, они могли договориться. Красивая и опытная женщина-агент, знающая много всяких интересных подробностей, – находка. Третий вариант – Альде осточертело ее ремесло, и она, воспользовавшись всей суматохой, связанной с провалом задания, просто сбежала. Может статься, заранее условилась с кем-то из своих русских богатых поклонников – и ищи ее тогда в просторах Российской империи на пяточке меж Крымом, Мурманском, Двинском и Камчаткой...

– На сей раз мы будем умнее, – твердо сказал Ронге.

Глава первая

В маленьком кабинете на втором этаже дома номер тринадцать, в Саперном переулке Санкт-Петербурга, решалась судьба бывшего полицейского агента Александра Гроссмайстера – и почти была решена. Его прошение на имя руководителя Центрального регистрационного бюро подполковника Владимира Михайловича Якубова было изучено и одобрено.

Видимо, к делу приложил руку недруг-соратник, которого в Риге знали под фамилией Енисеев, а в оперетте «Прикрасная Елена», которая, собственно, и свела его с Гроссмайстером, он исполнял комическую роль Аякса Саламинского.

Никто другой не знал подробностей истории, приключившейся с агентами «Эвиденсбюро», вздумавшими этим летом сперва завербовать, а потом похитить российских авиаторов. Историю исследовали чуть ли не под микроскопом и убедились, что Александр Гроссмайстер, известный публике рижского штранда как опереточный певец Александр Лабрюйер, не попал в поле зрения «Эвиденсбюро».

Оставались придумать секретное имя.

Самому ему очень нравилась фамилия «Лабрюйер», к которой он за лето успел привыкнуть.

– Нет, это имя не годится, – сказали Лабрюйеру. – Во-первых, оно довольно известно. На афишах блистало. Во-вторых, оно вам потребуется для вывески. Одно дело – заведение господина Гроссмайстера, другое – заведение господина Лабрюйера. Парижский шик и все такое. Придумайте иное.

Лабрюйер вздохнул. Выдумщиком он был не ахти каким. Чтобы изобретать секретные имена для агентов – нужно книг начитать, по греческой и римской истории хотя бы. А он читал мало – не до того было. Впрочем...

– Геркулес? – неуверенно спросил он.

Сидящий перед ним Якубов (без мундира, но выправку не скроешь) хмыкнул. На Геркулеса Лабрюйер не походил никак – ростом невысок, плотен, рыжеват, круглолиц. Он уж больше соответствовал своей подлинной фамилии «Гроссмайстер» – от нее бюргерским духом, некой немецкой прочностью за версту веяло.

Безымянный для Лабрюйера господин, бродивший по кабинету как бы без дела, также в штатском, повернулся и окинул новоявленного сотрудника задумчивым взглядом.

– Нет, это не Геркулес... Силен, скорее... Владимир Михайлович, пишем его Силеном...

– Нет, не стоит, тут как раз сходства многовато. Силен – божество пузатое и пьяное.

– И блудливое. Господин Гроссмайстер, хотите быть Силеном?

– Как прикажете, ваше превосходительство, – ответил Лабрюйер, которому на самом деле хотелось сохранить за собой давнее прозвище, придуманное антрепренером Кошкаревым. «Лабрюйер» – это было имя звучное, благородное, французское. И без всякой блудливости. Но раз велено его на вывеску – не поспоришь.

– А вот что! – воскликнул Владимир Михайлович. – Силен был в свите бога Вакха, ездил за ним, кажется, на осле. Там же были вакханки, менады, сатиры и леопарды. Александр Иванович, как насчет Сатира?

– Как прикажете, ваше превосходительство, – буркнул Лабрюйер. Ему эти поиски тайного имени уже немного надоели.

– А Леопард?

– Помилуйте, какой из него Леопард?! – воскликнул слонявшийся по кабинету господин. – Это зверь стремительный, гибкий, ловкий, хищный и даже прекрасный!

– Вот и замечательно, – подвел итог Владимир Михайлович. – При нужде наш новичок может быть и стремительным, и ловким, и в окошки прыгать, и верхом за аэропланом гоняться. Так что Леопард. Поздравляю вас, сударь, – имя прекрасное. И жду в среду. Для вас будет подготовлено все необходимое – деньги, аппараты, реактивы, бутафория. И также история. Ее потрудитесь зазубрить наизусть.

– Есть зазубрить наизусть, ваше превосходительство.

– Теперь ступайте, господин Леопард. В приемной сидит мой помощник Вайс. Он отведет вас к хорошему портному. Приоденьтесь, пока вы в столице. Поразите рижан столичным шиком.

– Не вздумайте отказываться, – добавил ехидный господин. – Наши портные на всю Европу славятся. Даже французские генералы у них мундиры заказывают.

Лабрюйер никого поражать не хотел. Но если служба того требует – придется.

Отродясь он еще не бывал у портного вот так – без всякой заботы о деньгах. Вайс, человек опытный, поставил задачу: одеть клиента как зажиточного господина, желающего нравиться приличным дамам, без лишней роскоши и без выкрутас; никаких расширенных плеч – немодно, да и собственных хватает; клетчатое пальто ему не по годам, а длинное темно-серое, двубортное, с каракулевым воротником, – в самый раз; два костюма-тройки также приглушенных тонов, один можно в скромную клетку, пиджаки на пару пальцев длиннее, чем диктует мода, клиент – не юный хлыщ, чтобы сверкать общелкнутой брюками задницей; да, и талию чуть завесить, а лацканы – удлинить.

– Визитка? – спросил портной.

– Делайте, – ответил Вайс. – Господин Лабрюйер будет вращаться в свете, без нее не обойтись.

От слова «вращаться» Лабрюйера аж передернуло.

Потом Вайс повез его на Большую Морскую, в ателье «Английская фотография» – учиться ремеслу.

Когда Лабрюйер по протекции Аркадия Францевича Кошко и, возможно, Аякса Саламинского (он же – Егор Ковальчук, он же – Георгий Енисеев, а подлинного имени собрата Аякса, с которым судьба свела в антрепризе господина Кошкарева, Лабрюйер, понятно, не знал; оно, может, только генералу Монкевицу, с недавнего времени заведовавшему российской контрразведкой, и было известно), отправился наниматься агентом контрразведки, у него выпытали всю родословную, чуть ли не до того Гроссмайстера, который при царице Анне Иоанновне пешком пришел из Мекленбурга в Ригу, чтобы проработать года полтора подмастерьем у сапожника, да так там и остался. Что касается происхождения по материнской линии, то Лабрюйер мог рассказать немного: матушка была дочерью гувернантки, кем-то привезенной из Москвы и неудачно вышедшей замуж за рижского почтальона. Девичью фамилию матери он, понятно, знал; с трудом вспомнил девичью фамилию бабки.

Тут сочинителям историй для агентов просто повезло – нашлась-таки где-то в Саратове недавно скончавшаяся одинокая дама, весьма зажиточная, с той же фамилией, что у Лабрюйеровой бабки; возможно, и впрямь дальняя родня. Оставалось выбрать на ее генеалогическом древе подходящую ветку, чтобы повесить туда медальон с физиономией Лабрюйера.

Наследство невелико, но позволяет открыть в Риге свое дело. А что может быть лучше фотографического заведения? Фотография ныне в большой моде, ателье растут, как грибы. Если бывший полицейский инспектор, не пожелав возвращаться на службу, откроет в приличном месте ателье, это будет весьма достойным употреблением для наследства. Господин Гроссмайстер в Риге многие знают, и хотя вспомнят его чудачества в опереточном образе Аякса Локридского, но в ателье к нему придут охотно. Мало ли – побуянил, поколобродил, выпил отмеренную ему судьбой стоведерную бочку водки, в артистах побывал, уго-

монился, взялся за ум, стал почтенным гражданином и деловым человеком. Вовремя пришедшее наследство и не таких чудачков исправляло.

Фотографическое заведение – такое место, куда все приходят, и неоднократно, за день там перебивает с полсотни клиентов, в нем можно назначать встречи, а реквизит для фотосъемки, все эти разлапистые пальмы, обрубки античных колонн, чучела собачек и козочек вообще таит в себе неисчерпаемые возможности.

Так что Лабрюйер должен был хотя бы приблизительно знать, из чего состоят эти устрашающие аппараты; знать настолько, чтобы в беседе с собратьями по ремеслу не опозориться. Но усердствовать в постижении фотографических премудростей он не собирался – предполагалось, что он, устроив заведение в хорошем месте, выпишет из Москвы знатока с рекомендациями и приставит его к аппарату. Вот его-то, знатока, и готовили для фотографической роли всерьез. И он должен был возглавить наблюдательный отряд, для которого в Риге уже было серьезное дело...

К среде кое-какие сведения были вбиты в непослушную голову, оставалось вызубрить историю о тетке, жившей в имении под Саратовом.

Немного жалея, что не удалось побродить по Санкт-Петербургу, Лабрюйер сделал прощальный визит к господину Кошко.

Кошко, уже лет пять возглавлявший Московскую сыскную полицию, прибыл в Санкт-Петербург одновременно с Лабрюйером по своим полицейским делам и передал ему приглашение встретиться. Первая после долгой разлуки встреча состоялась в гостинице «Астория».

Лабрюйер шел туда, чувствуя себя как-то несуразно – во всем новеньком. Он пытался понять, как выглядит со стороны: господин средних лет, средней внешности, среднего роста, который благодаря удачно скроенной одежде не то что должен, а обязан выглядеть выше и представительнее. Но насколько нужна эта самая представительность? А если она появилась – отчего встречные дамы не задерживают взгляда на плотной фигуре и округлом лице? Или хитрый портной, привыкший обшивать агентов, знает какие-то приемы и ухватки, чтобы сделать их незаметными, почти незримыми?

Кошко, однако, узнал Лабрюйера издали.

– Лучше бы, конечно, вам вернуться в рижскую Сыскную полицию, – сказал Аркадий Францевич. – Я бы телефонировал, все бы уладил. Ваше место именно там – на Театральном бульваре. Но я ваш поступок понимаю.

– Сам бы я хотел его понять, – ответил Лабрюйер. Он не умел говорить красиво и даже за сто рублей не произнес бы монолога о службе Отечеству. А растолковывать бывшему начальнику все психологические выкрутасы отношений между Аяксом Локридским и Аяксом Саламинским – совершенно не желал – во-первых, стыдно, во-вторых, и самому многое непонятно. Однако решение принято, а все прочее – словоблудие.

Два дня спустя Лабрюйер прибыл в Ригу.

Ему следовало терпеливо пройти тем самым путем, что и всякому пожелавшему открыть фотографическое заведение. Следовало обратиться с прошением на имя генерал-губернатора, после чего оное прошение отправлялось в губернское жандармское управление – для подтверждения политической благонадежности Лабрюйера. Благонадежность имела в должном количестве – учитывая нынешнюю должность Лабрюйера. Но формальность в этом случае должна была соблюдаться свято. Затем прошение передавалось в полицейское управление – полиция запрашивалась о поведении, нравственных качествах, образе жизни и занятиях г-на Гроссмайстера, проживающего в Риге по Столбовой улице в доме Вальдорфа, а также и о том, не состоит и не состоял ли он под судом и следствием.

Две недели спустя Лабрюйер получил «Свидетельство на право производства фотографических работ в пределах Лифляндской губернии».

Эти две недели ушли на поиски помещения и переговоры с владельцем.

Пробежавшись по десятку адресов, Лабрюйер выбрал дом на Александровской. Конечно, Александровская – самое фотографическое место Риги, в самом ее начале четыре ателье – Гомана, Гейслера, Малиновского и фон Эггерта, и на Александровском бульваре два ателье, но, рассуждая разумно, если все они, находясь по соседству, клиентов друг от дружки не отбили, не перессорились и не закрылись, значит, работы всем хватает. Опять же – вся Рига знает, куда идти за фотографическими карточками...

Прежде всего, Лабрюйера устраивало помещение: там раньше была кондитерская, так что хватало места и для зала, где производились съемки, и для лаборатории, и для склада реквизита. Затем – имелся выход на Гертрудинскую улицу, а он жил на Столбовой, почти на углу с Дерптской, так что дорога в свежеекращенное ателье «Рижская фотография г-на Лабрюйера» занимала около пяти минут. И, наконец, место было бойкое – почти напротив стояла гостиница «Франкфурт-на-Майне».

Эту гостиницу он любил!

Семь лет назад появилась в Риге замечательная фигура – граф Рокетти де ля Рокка. С виду это был истинный испанский гранд – высокий брюнет с той неестественной для северян смуглотой, что отливает желтым, с красиво расчесанной вороной бородой; манеры не совсем аристократические, однако для графьев законы не писаны. Этот испанец хорошо говорил по-русски и удивительно скоро втерся в рижское общество. Он занял лучший номер «Франкфурта-на-Майне» и завел в гостинице крупную карточную игру, причем выигрывал бешеные деньги. Кошко сразу предположил, что Рига сподобилась внимания шулера высокого полета, причем удивительного наглца – он даже пытался вступить в общество Черноголовых, которое было основано в бог весть котором средневековом году, считалось в Риге страх каким аристократическим и чужаков не принимало вовсе.

Запросив Москву и Петербург, Кошко выяснил, что шулера с такой экзотической фамилией там не знают. Подумав, вызвал Лабрюйера:

– Сыщите-ка мне Янтовского!

Тадеуш Янтовский уже оказывал Сыскной полиции кое-какие услуги и просился в штат. Вот Аркадию Францевичу и выпал случай его проверить.

Как Янтовский поселившись во «Франкфурте-на-Майне», изображал крупного коммерсанта из Лодзи, как обхаживал Рокетти, как похищал его паспорт, как Лабрюйер мчался с этим паспортом в полицию, чтобы сфотографировать и внимательно изучить, как приуныли сыщики, когда испанское посольство подтвердило выдачу паспорта, – вспоминать все это было даже радостно; может, еще и потому, что Лабрюйер возвращался в свою азартную молодость, в лучшие годы жизни. Тогда, кстати, он впервые в жизни позавидовал Янтовскому, который ухитрился сперва подпоить Рокетти в концерт-кабаре Шнелля, что на Елизаветинской, а потом затащить в фотографическое ателье Гебенспергера, буквально напротив того кабаре. По снимку петербургские полицейские инспекторы его и опознали – шулер Раков, а как столь достоверно заделался испанским графом – даже помыслить страшно.

Брал Рокетти-Рогова прямо в его гостиничном номере лично господин Кошко, сопровождаемый Янтовским, инспекторами Швабо и Лабрюйером. На улице дежурили готовые к погоне и драке агенты.

Сейчас окно того номера Лабрюйер мог видеть, стоя у дверей своего фотографического заведения. Оно еще не имело вывески, не имело витрин, где выставлялись бы самые удачные карточки. Доставленные из Санкт-Петербурга предметы обстановки стояли упакованные. При одной мысли, чего там понапридумывало начальство, Лабрюйер ежился. В бытность свою полицейским инспектором он в ателье бывал и насмотрелся на фальшивые пейзажи во всю стенку, корзины с искусственными цветами, кресла и банкетки, пародирующие стиль всех французских Людовиков сразу, однажды даже видел чучело крокодила – на него верхом

сажали детишек и делали пресмешные карточки. Теперь ему предстояло заведовать всем этим бедламом.

– Господин Гроссмайстер, – сказал, подходя, почтальон. – Вам телеграмма.

Пока не был установлен телефонный аппарат, Лабрюйер должен был ждать из столицы именно телеграмм.

Он развернул листок.

Тетушка Амалия предлагала ему встретить завтра утром на Двинском вокзале кузину, что прибудет московским поездом в шестом вагоне. С тетушкой Амалией все было ясно, слово «кузина» его смутило.

Обживаясь в фотографическом ателье, Лабрюйер с ловкостью агента Сыскной полиции свел знакомство не с богатыми жильцами из больших квартир во втором и третьем этажах, а с прислугой – горничными, кухарками, дворником-латышом по фамилии Круминь, что означало «кустик»; с его женой, бойкой языкастой латышкой родом из Курляндии, которую, несмотря на скромное положение, весь двор называл «госпожа Круминь»; с немолдыми швейками-сестричками Мартой и Анной с четвертого этажа. Это были люди, приятельство с которыми покупается недорого, а польза от них несомненна – всегда за скромные деньги выполняют несложное поручение.

Тринадцатилетний Пича был сыном дворника. По бумагам его звали Петером, и как из этого имени родня сделала Пичу – Лабрюйер не знал. Но парень на имя откликался – и ладно. Лабрюйер взял его с собой на Двинский вокзал, чтобы было кому помочь тащить багаж. Он даже устроил Пиче праздник – взял ему тоже перронный билет, чтобы мальчишка в подробностях разглядел паровоз.

Появления «кузины» Лабрюйер ожидал с трепетом – что еще за сюрприз припасло начальство. И сюрприз явился.

Это была невысокая и худая женщина, молодая, но поразительно уродливая. Лабрюйер впервые видел у дамы такой подбородок – крупный, угловатый, снизу – словно топором обрубленный и торчащий вперед, как бушприт у яхты. Одета «кузина» была в мешковатое пальто-сак какого-то крысиного цвета, в коричневую юбку, на голове имела крошечную шляпку из разряда дурацких – по личной классификации Лабрюйера. Из-под шляпки торчали коротко остриженные светлые прямые волосы.

Тому, что «кузина» сразу устремилась к «кузену», Лабрюйер не удивился – «тетушка Амалия» наверняка снабдила ее фотографической карточкой. Полагалось бы расцеловаться – но Лабрюйер не представлял, как целовать это такое страшилище.

Однако «кузина» была далека от сантиментов – решительно и стремительно протянула руку с растопыренными пальцами так, как это делают некоторые полоумные дамы для сурового мужского рукопожатия: на аршин вперед.

– Меня зовут Каролина Менгель, кузен, – негромко сказала страшилище. – Идемте.

– Пича, возьми у фрау саквояж, – сказал по-немецки Лабрюйер.

Саквояж был из потертой ковровой ткани, довольно большой, и вряд ли весил меньше тридцати фунтов. Но страшилище отмахнулось от услужливого паренька.

– Я сама понесу саквояж, – гордо сказала Каролина. —

Я – эмансипэ!

– Как угодно, – ответил Лабрюйер. – Пича, беги на площадь, возьми ормана.

Каролина устремилась вперед, таща саквояж с какой-то привычной легкостью. Идти рядом с кавалером, пусть это был всего лишь «кузен», она решительно не желала. Лабрюйер вразвалочку пошел следом, соображая: почему ему прислали нелепую эмансипэ? Неужто никого лучше не нашлось?

До встречи Лабрюйер думал, что может поместить хорошенькую кузину в собственной квартире, благо по распоряжению нынешнего начальства присоединил к ней еще одну

комнату. Это было несложно – всего лишь, уговорившись с хозяевами, отодвинуть шкаф, загораживавший дверь. Но, увидев Каролину Майер, Лабрюйер понял, что жить с ней под одним кровом не хочет, не может и не будет.

Пича был беспредельно счастлив, он увидел вблизи паровоз, он прошелся по всему перрону, он ехал домой на ормане, в кармане у него лежал настоящий перронный билет – для хвастовства перед дворовыми мальчишками! И когда Лабрюйер велел ему сбежать на четвертый этаж к Марте и Анне – узнать, свободна ли еще угловая комната, поскакал вприпрыжку.

Каролину, казалось, вовсе не беспокоило, где она будет жить. Войдя в фотографическое заведение, она первым делом устремилась в рабочие помещения – распаковывать ящики с оборудованием и химикалиями. Лабрюйер попытался ей помочь, но был выставлен с сердитым приговором:

– Кузен, вы в этом ничего не понимаете.

Ну что же, подумал Лабрюйер, если эти эмансипэ так отчаянно рвутся в мужской мир, чтобы выполнять мужскую работу, то дама-фотограф – еще не самое худшее, что можно вообразить. И, судя по физиономии, она пылает истинной и неподдельной страстью и к трехногому аппарату, и даже к четвероногому – павильонное фотографическое устройство опиралось на четыре ноги, намертво приделанные к платформе, а для камеры, чтобы ездила по нему взад и вперед, были устроены особые тоненькие рельсы.

Каролина высунулась из рабочей комнаты и спросила, где подручный. Лабрюйер ответил: он не знает, какими качествами должен обладать этот самый подручный, пусть кузина скажет – и если нужен мальчишка, то можно взять Пичу, его семейство будет счастливо, что парнишка после школы учится такому хорошему ремеслу. Каролина согласилась, и Лабрюйер привел Пичу.

Казалось, все устраивается очень даже неплохо. Однако был еще один неприятный сюрприз. Оказалось, что Каролина курит папиросы, причем дешевые. Лабрюйер не выдержал и прочитал ей нотацию – приличный клиент, а в особенности дама, да еще дама с детишками, войдя в фотографическое ателье, провонявшее дымом, тут же выйдет и мало того, что не вернется никогда, так еще расскажет всем знакомым, что с «Рижской фотографией господина Лабрюйера» лучше не связываться. Опять же – голос от этих папирос делается какой-то скверный.

После нотации они расстались, сильно недовольные друг другом.

Лабрюйер съездил к жестянщику, привез вывеску, позвал дворника Круминя, тот притащил лестницу и с помощью своего старшего, Яна, укрепил вывеску над дверью. Госпожа Круминь вымыла в ателье полы – и со следующего дня можно было принимать клиентов.

Лабрюйер хотел расслабиться и отдохнуть.

Раньше он, пожалуй, употребил бы для этого стакан водки, круг копченой колбасы, потом – второй стакан. Но то было раньше – сейчас он не имел права напиваться до полного блаженства. Где-то далеко Аякс Саламинский, который, сам того не зная, втравил Лабрюйера во всю эту историю с фотографическим салоном, наверняка думает: с месяц, пожалуй, мой Аякс Локридский еще продержится, а потом опять начнет пить горькую. Нужно сделать все возможное, чтобы его разочаровать!

Лабрюйер очень хорошо помнил все мелкие пакости, которые устраивал ему бывший жандарм, ныне – агент контрразведки, когда они нанялись в антрепризу господина Кокшарова и исполнили в оперетке роли двух Аяксов. И, хотя в серьезном деле Енисеев его не подвел, настоящим доверием к нему Лабрюйер не проникся. Была одна безумная ночь, когда они действовали слаженно, прикрывая друг дружку, была! А потом вернулись недоверие, раздражение, даже злость. Хотя раньше Лабрюйер мстительным себя не считал, но желание проучить Енисеева угнездилося в душе и не давало покоя.

Водка, стало быть, откладывалась до лучших времен. А вот пиво...

Кварталы высоких, в пять и шесть этажей, рижских домов, выходивших на главные улицы, были великолепны – один дом краше другого, лепнина не повторялась, угловые башенки – одна другой причудливее, и кафель в подъездах – как в сказочном дворце. Но внутри такого квартала стояли как попало деревянные дома, в лучшем случае двухэтажные, окруженные цветничками и грядками, и к ним лепились всевозможные сараи и конурки. Квартира, которую нанимал Лабрюйер, как раз глядела во двор, и весной он, открыв окно, наслаждался ароматом сирени. Возле кустов стоял врытый в землю стол, при нем скамейки. Днем там сидели с рукодельем бабки, присматривая за играющими малышами, вечером собирались мужчины.

На подступах к дому Лабрюйера окликнул Акментинь:

– Добрый вечер, господин Гроссмайстер! Мне сегодня привезли бидон баусского пива! Могу предложить кружку!

Акментинь, городской латыш, имевший небольшую мастерскую, где вместе со старшим сыном мастерил ключи, точил ножи и чинил всякий кухонный скарб, котлетные машинки и мороженицы, обратился к соседу по-немецки. И по-немецки же Лабрюйер ответил, что охотно посидит с ним во дворе за кружкой пива. Хотя слово «кружка» было скорее символическим.

Десятилитровый жестяной бидон с дивным напитком из баусской пивоварни господина Барскова желательно было опустошить за вечер – деревенское пиво, покинув бочку, долго не могло стоять, портилось к третьему дню, да и пены давало мало, а пена – одно из великих удовольствий застолья.

Погода позволяла провести остаток вечера во дворе, за деревянным столом. Жена Акментиня вынесла сковородку с жареной кровяной колбасой, которую Лабрюйер не слишком любил – она на девять десятых состояла из разваренной крупы; сосед Лемберг, также латыш, также городской в пятом, если не шестом поколении, владелец бакалейной лавочки, принес хвост балыка и жестяную коробку с рыбными консервами; вкусный кисло-сладкий хлеб и свежайшее масло к нему принес хозяин обувной мастерской еврей Гольшмит, который пристрастился к пиву с юных лет; пожилой чертежник Сергеев выложил на стол кусок копченого сала; наконец, два фунта сосисок-франкфуртеров купил для застолья сам Лабрюйер. Разговор за столом шел самый подходящий – о превосходстве баусского пива над всеми прочими, а малых пивоварен в Лифляндской и Курляндской губерниях хватало, каждая чем-то могла похвалиться.

Увлечшись, собутыльники не заметили, как на стол бесшумно прыгнул кот госпожи Сергеевой. Он нацелился на гирлянду франкфуртеров. Бить кота не хотели, чай, не чужой, и разом закричали, хлопая по столу:

– Шкиц!

– Брысь!

– Фурт! Фурт фун тейгехц!

Прогнав животное разом на трех языках, мужчины допили пиво и замолчали – когда в животе два литра баусского нектара, это нужно вдумчиво осознать, а потом, опережая приятелей, прошептать в «маленький домик», на дверце которого вырезано неизменное сердечко.

Потом Лабрюйер поднялся к себе и, разложив постель, встал у окна.

Он сам не знал, как это получилось: может, слишком давно не пел, а петь он любил, пусть даже в четверть голоса и без единого слушателя. И память подсунула голосу то, что полагалось бы забыть.

– Льет жемчужный свет луна, в лагуну смотрят звезды, – пропел Лабрюйер. – Ночь дыханьем роз полна, мечтам любви верна...

Проклятая баркарола!

Он проклял этот маленький сентиментальный шедевр Оффенбаха еще тогда, на штранде, поняв, что в жизни не осталось любви. Ночь была полна ароматом знаменитого белого шиповника, а Валентина Селецкая полна мечтаний о богатом кавалере – пусть не женится, пусть хоть так... Да и любил ли он Селецкую? Может, померещилось?

Что-то было, душа летела, голос звенел... Но как прикажете называть сорокалетнего мужчину, который, нанюхавшись белого шиповника, вообразил себя гимназистом, влюбленным в актерку?

А она, актерка, уехала вместе с кокшаровской труппой, и даже проститься не удалось – да и какой смысл в прощаниях? Сейчас Валентиночка, наверно, в Москве, отдыхает перед новыми гастролями, освежает гардероб – актриса должна одеваться модно. Иначе не завлечь богатого поклонника. Такова унылая правда жизни – актриске нужен мужчина, чтобы оплачивать расходы, так было всегда, так будет всегда, а муж он или не муж – после тридцати актриска мало беспокоится... она ведь уже не годится в хозяйки дома и матери семейства, и сама это отлично сознает, они помрет от тоски на кухне или в детской...

– Женюсь, – вдруг сказал Лабрюйер. – Мало ли женщин, которые после своего тридцатилетия поумнели и ищут благоразумного брака? Мало ли их – умеющих вести хозяйство и желающих материнства, а не корзины с цветами на сцене? Решено – женюсь.

Глава вторая

Видно, на небесах его услышали, потому что утром, спеша в свое фотографическое заведение, Лабрюйер налетел на фрау Вальдорф.

Фрау была не дура. Она знала жильца довольно давно и не гнала его прочь, даже когда он превратился в унылого выпивоху. Платить-то он за квартирку платил, а остальное – не ее дело. Сейчас Лабрюйер дивно преобразился: его привезенные из Питера костюмы, и трость с дорогим набалдашником, и история с наследством, и расширение квартирки, и мудрое решение вложить деньги в фотографическое ателье, – все это делало бывшего полицейского инспектора завидным женихом. А жене его обещало приятное существование – необременительный труд и свежие впечатления. Что может быть для дамы лучше, как сидеть в заведении на Александровской, принимать клиентов, отвечать на телефонные звонки? Это же – идеальный образ жизни, именно такой, который требует всегда появляться в свежих и модных нарядах, с безупречной прической, знать всю рижскую аристократию в лицо.

Но заботилась фрау не о себе, а о сестрице супруга. Та безнадежно засиделась в девках. Приданое – великое дело, но когда к приданому прилагается тощая и длинноносая девица, с кислой физиономией и непомерным самомнением, женихи вокруг не роятся.

Так что фрау, уже совершившая в великом деле сватовства несколько роковых ошибок, не стала зазывать жильца на чашечку кофе со штруделем домашней выпечки. Она просто осведомилась, смогут ли ей в фотографическом ателье сделать хорошие карточки. Карточки понадобились для отправки в Америку дальним родственникам. Лабрюйер, естественно, пригласил туда квартирную хозяйку и даже галантно пообещал, что карточки ей ничего не будут стоить.

К тому же фрау Вальдорф знала, что жилец лет семь назад собирался жениться, и даже встречала в гостях у кого-то из дальних родственников его невесту, очень приятную, толковую и деловитую девицу по имени Юлиана. Когда Лабрюйер попал в неприятности и ушел из сыскной полиции, эта девица, служившая, кстати, гувернанткой в почтенном семействе, отказалась идти под венец – и, по мнению фрау, правильно сделала. То, что после такого несчастья жилец не пытался найти другую жену и даже не приводил к себе особ легкомысленного поведения, для фрау Вальдорф служило хорошей рекомендацией. Теперь главное было – не терять времени...

Нужно быть каким-то особенным дураком, чтобы спозаранку бежать к фотографическому ателье и торчать перед запертой дверью. Лабрюйер знал, что с утра пораньше клиентов не будет, и полагал просто посидеть, глядя в большое окошко и беседуя с Каролиной. Нужно было убедить эмансипэ одеться по-человечески, чтобы не распугать публику.

Но когда он увидел «кузину» – у него глаза на лоб полезли.

Она в простом саке, в маленькой шляпке без затей, без румян, была страшилищем, но страшилищем скромным и непритязательным. Сейчас же Каролина вырядилась в синюю «хромую» юбку, позволявшую делать только самые крошечные шажки, в полосатую белорозовую блузку с оборочками и кружавчиками, впридачу с большим лиловым бантом, а на голове у нее был вороной парик с кудряшками. И, в довершение ужаса, она густо нарумянилась.

– Боже мой... – прошептал Лабрюйер.

– Да, кузен, – томно сказала Каролина. – Я знаю, как нужно одеваться в приличном заведении. Я эмансипэ, да! Но я знаю правила и не подведу вас.

Лабрюйер понял, что произошла ошибка – он встретил не агента, владеющего фотографическим ремеслом, не командира наблюдательного отряда, а совершенно постороннюю женщину, которая, как на грех, тоже увлекается фотографией. Несколько секунд он был в

этом убежден – пока сомнительная Каролина прихорашивалась перед зеркалом и выкладывала попричудливее свои фальшивые кудряшки. А потом Лабрюйера осенило: даже самый пронырливый вражеский шпион не заподозрит это страшилище в тайных замыслах. Каролину назовут дурой, нелепым созданием, спятившей охотницей на женихов, и на том успокоятся.

– Вы переигрываете, кузина, – заметил он. – Вы словно сбежали из какого-то низко-сортного водевиля. Бант хотя бы снимите.

– Он подчеркивает мои достоинства, душка, – отвечала вконец распоясавшаяся Каролина.

– Мне телефонировать в Питер? И не называйте меня так, понятно?

– Все мужчины – душки, – сказала Каролина, причем высокомерно. И очень Лабрюйеру это не понравилось.

Дверь отворилась, вошел почтальон. Он принес посылку из либавской типографии Покорного, в которой многие российские фотографические ателье заказывали паспарту – белые картонные рамки с виньетками и прочими затеями.

– Разберите и разложите, – велел Каролине Лабрюйер.

Но вслед за почтальоном пришел первый клиент. Начало было горестное – он принес фотографическую карточку покойного деда, желая, чтобы ее отретушировали, пересняли и изготовили приличный портрет.

Потом пришли две дамы. Их интересовало, не продаются ли в ателье виды города Риги. Лабрюйер честно признался: ателье открыто первый день, своих видов еще нет, а чужими торговать даже неприлично. Он всучил дамам рекламные проспекты, в которых обещались «художественное и быстрое исполнение всех фотографических работ: портретов, групп и увеличений на невыцветающей роскошной белой глянцева-ой бумаге, а также платиноматовые снимки и миниатюрные марки с портретами».

Третий посетитель желал подарить невесте свой фотографический портрет на эмали в виде брошки. К таким безумствам Лабрюйер был готов, не зря изучал основы ремесла в Питере. Он честно признался, что подобной услуги не оказывает.

Наконец пришла дама с двумя малютками и нянькой. Пришлось вытаскивать чучело козы, от которого малютки шарахнулись с громким ревом. С немалым трудом были сделаны первые кадры «Рижской фотографии господина Лабрюйера».

И началась обычная деловая жизнь – с недовольными клиентами, не вовремя перего-рающими лампами, перепутанными конвертами с карточками. Лабрюйер установил в лабо-ратории телефон, чтобы Каролина могла принимать заказы и вписывать их в особую тетрадь. Сам он принимал клиентов, отвечал на вопросы, а «кузину» вызывал только для исполнения ее прямой обязанности – возни с аппаратом.

Оказалось, место выбрано правильно, постояльцы «Франкфурта-на-Майне» протоп-тали дорожку в фотографическое заведение, а почему? Потому что Лабрюйер уговорился с хозяином гостиницы и изготовил ему меню для ресторана с видом большого обеденного зала и прочими дорогими сердцу путешественника видами. Для этого он вместе с Кароли-ной несколько дней подряд выбирался ранним утром снимать рижские достопримечатель-ности: ратушу со статуей Роланда перед ней (какое отношение рыцарь Роланд имеет к Риге, никто не знал, но в немецких городках завелась такая мода, градоначальник Армистед пошел навстречу магистрату, желающему завести европейское украшение), замок, политехникум, городской театр на берегу канала, коммерческое училище – краснокирпичную пародию на готическую архитектуру.

В подручные Каролина взяла обоих сыновей Круминя – и Пичу, и Яна. Ян был высокий и крупный восемнадцатилетний парень, считался красавчиком, и дамы поглядывали на него

с интересом. Он хотел получить прекрасное для латышского парня ремесло. А Пича стал рассыльным.

Примерно раз в три дня Лабрюйер ругался с Каролиной из-за ее кошмарных нарядов. Не то чтобы он разбирался в модах – а просто помнил, как одевались актеры в труппе Кокшарова. Одна только госпожа Эстергази могла нацепить на себя шляпу, украшенную целым курятником, а госпожа Терская и Валентина... Он не мог бы точно описать платья и тальеры Валентины, помнил только общее впечатление, и по нему выверял свое отношение к блузкам и бантам Каролины. Отношение было более чем критическое.

Фрау Вальдорф приводила сестрицу супруга, фрейлен Ирму, и Каролина сделала десятка два фотографических карточек: фрейлен Ирма в кресле с книгой, фрейлен Ирма на фоне древнегреческого пейзажа, фрейлен Ирма возле вазы с гигантскими розами, фрейлен Ирма в шляпе и без шляпы, с прической а ля Клео де Мерод, которая не шла ей совершенно, и с распущенными волосами. Лабрюйер, имевший немало забот, и не обратил бы внимания на эти маневры и демарши, но супруга дворника Круминя, очень благодарная за обучение Яна, воспитание Пичи и приработок в фотографическом заведении, с неожиданным ехидством осведомилась однажды, не идет ли дело к свадьбе. Тут-то Лабрюйер и прозрел. Он рассмеялся и дал осведомительнице рубль за приятную новость.

Фрейлен Ирма, конечно, была невеста с приданым. Но уж больно долгоноса...

В суе прошло около месяца, и Лабрюйер беспокоился – ни одного телефонного звонка от питерского начальства, ни одного тайного послания, ни одного курьера, вообще ничего! Для чего же потребовалось фотографическое заведение? Чтобы дать средства к существованию бывшему полицейскому инспектору, которого угораздило впутаться в шпионскую историю и оказать Отечеству важную услугу?

Или же таково ремесло агента контрразведки – жить обычной жизнью месяц, полгода, год, и вдруг получить приказ...

Был солнечный октябрьский день – именно такой, когда хорошо прогуляться вдоль канала, выпить кофе с булочками в кофейне на вершине Бастионной горки, пока ведущие туда дорожки, как обычно случалось ближе к ноябрю, не размыло дождями; может, даже в последний раз перед настоящей прибалтийской осенью, тоскливой и промозглой, покататься на лодочке.

В такой день рижанки из хороших семей наверняка постараются выйти на прогулку – хоть в Верманский парк, хоть на Эспланаду, чтобы поймать иллюзию лета. Деревья еще зелены, лишь в кронах берез – длинные желтые пряди, и можно не обращать внимания на сухую, понемногу теряющую свежесть и гибкость своей растительной жизни листву. Иллюзия, иллюзия... глядя на стройные фигурки с тонкими талиями, можно много чего вообразить... Даже познакомиться можно! Этак ненавязчиво. В конце концов как-то же положено знакомиться с дамами и девицами, пригодными для семейной жизни. А не ждать, пока фрау Вальдорф придумает какую-нибудь брачную пакость.

Предвкушая прогулку, Лабрюйер стоял в салоне и руководил Яном. Тот чинил помост – из досок вдруг полезли гвозди и могли наделать много бед. На улице по ту сторону витрины, в которой уже были выставлены удачные фотокарточки, остановилась пара – пожилой господин и красивая дама. Лабрюйер подумал, что это были бы хорошие клиенты.

И тут дверь фотографической мастерской распахнулась.

Сперва Лабрюйеру показалось, что ураганом разорило магазин Мушата и охапки перепутанных полос разноцветной ткани стремительно внесло в помещение. Но ателье наполнилось криками, хохотом, визгом, и Лабрюйер понял: это всего-навсего компания молодых дам, их шесть или семь, хотя по ощущению – не меньше двадцати. Насчет тканей он не слишком ошибся – дамы принесли какие-то хламиды нежных цветов, завернутые в простыни, и стали их деловито развешивать по спинкам стульев. Говорили дамы по-русски.

Лабрюйер, опомнившись, подошел к маленькой бойкой блондинке, лет тридцати пяти, если не сорока, которая распоряжались подругами.

– Сударыня, – сказал он.

– Вы господин Гроссмайстер? Я телефонировала вам и договорилась с дамой, которая у вас служит, – ответила блондинка. – Мы арендуем ателье с двух до четырех.

Лабрюйер подумал, что неплохо бы эту служащую даму удавить.

– Так что благоволите запереть дверь в салон и задернуть шторы. Я не хочу, чтобы вся Александровская улица любовалась, как мы переодеваемся, – продолжала блондинка.

– Как вам угодно, – и Лабрюйер, закрыв салон, взял с собой Яна и поспешил в лабораторию.

Каролина была там и готовилась к съемке.

– Могли бы и предупредить, что у нас сегодня ожидается сумасшедший дом, – сердито сказал Лабрюйер.

– Не сумасшедший дом, а живые картины, душка, – миролюбиво ответила Каролина. – Эти дамы хотят иметь свои фотографические карточки в театральных костюмах, портреты, красивые группы, не хуже, чем в синематографе или в балете. Я думала, они опоздают. Это хороший заказ, душка, дамы очень приличные.

– Актерки? – спросил Лабрюйер, вспомнив свои приключения в труппе Кокшарова.

– Нет, душка, все из хороших семей. Госпожа Морус, Надежда Ивановна, – жена профессора рижского политехникума... что вы так смотрите, душка?..

– Ничего, – буркнул Лабрюйер, – предупреждать надо... Если я не нужен, чтобы подавать веера и подвязки, то пойду прогуляюсь. Ровно на два часа.

Лабрюйер не был чересчур сентиментален, но вот образовался повод прогуляться по Эспланаде и над каналом – отчего бы нет? И съесть порцию сосисок-«винеров» в «Лавровом венке»...

– Александр Иванович, без вас не обойтись. Нужно выставить фоны и декорации, душка. Это не женское дело – таскать античные колонны. Ян один не справится. Посидите тут, я приду за вами!

Каролина выскочила, а Лабрюйер принялся вспоминать те случаи смертоубийства, когда мужчина, задушивший женщину, дешево отделался.

В предбаннике лаборатории на столе лежали газеты и книжки. Лабрюйер, уверенный, что в хозяйстве эмансипэ, которая притворяется служащей дамой, не должно быть ничего дамского, раскрыл книжку наугад. Это оказались стихи господина Бальмонта. Современных стихов Лабрюйер не любил, не понимал и понимать не желал – достаточно было того, что он учил наизусть слова песен и романсов, которые у кого угодно отбили бы охоту к изящной словесности.

В томике была красиво вырезанная бумажная закладка, и потому он распахнулся на довольно неожиданных строчках:

Она отдалась без упрека,
Она целовала без слов...

– Ого, – сказал Лабрюйер. – Ну, поэты...

Начало было многообещающее, и он дочитал до конца:

Как темное море глубоко,
Как дышат края облаков!

Она не твердила: «Не надо»,

Обетов она не ждала.
– Как сладостно дышит прохлада,
Как тает вечерняя мгла!

Она не страшилась возмездья,
Она не боялась утрат.
– Как сказочно светят созвездья,
Как звезды бессмертно горят!

Дочитав, Лабрюйер положил томик на место и задумался. Мысли текли двумя параллельными потоками, и получилось примерно так:

– Вот что, оказывается, на уме у моей эмансипэ – отжаться без слов... И придумают же поэты... Кто бы мог подумать – и ей охота порезвиться... Но таких женщин не бывает, чтобы без упрека... Эмансипэ, однако! Экое лихое эмансипэ!.. Не бывает женщин, чтобы прямо сказали – люблю, хочу, возьми меня...

Тут на пороге появилась Каролина.

– Идем таскать колонны, душка. Ян, идем! Дамы уже готовы.

– Так скоро?

– Они приехали костюмированные, в ротондах и накидках.

Лабрюйер вышел – и увидел группу настолько очаровательную, что остолбенел.

В середине салона стояла женщина, вокруг которой вились подруги, весело чирикая и поправляя ее великолепный маскарадный костюм. Она же молчала, словно входила в роль, и эта роль была хорошо знакома Лабрюйеру.

Он не читал трагедии Шиллера, других пьес о Столетней войне тоже не знал, но в стройной брюнетке сразу опознал Иоанну д'Арк.

На ней были сверкающие доспехи, госпожа Морус прилаживала красный плащ с королевскими французскими лилиями, другая дама держала наготове рыцарский шлем.

Но Лабрюйер перестал видеть и лилии, и огромный султан на шлеме, и хорошенькую девушку в греческом наряде, что привязывала жестяные поножи к ногам брюнетки.

Ее лицо...

Многие молодые дамы остригали длинные косы и завивали волосы, расчесав на пробор. Но у этой кудри были свои – без парикмахерской симметрии, крупные, не достигающие плеч. И лицо – лицо героини, которой только меча не хватает, чтобы спасти Францию. Четкие черты, прямой нос, большие черные глаза – и если бы Лабрюйера попросили определить, к какой национальности принадлежит воительница, он бы не смог ответить. Хотя служба в полиции научила его различать цыганок, евреек, темноволосых немок, ливок с курляндского побережья, малороссиянок, даже итальянок, даже турчанок (было дело, выслеживали тайный бордель и во время внезапного налета вывели оттуда и негритянок, и мулаток, и одну индианку, которая потом, когда ее отмыли, оказалась фальшивой).

Но ничего мужланистого в воительнице не было – достаточно было видеть ее красивую удлиненную шею, истинно лебединую, с тем особым наклоном, который сразу рисует в воображении и обнаженные плечи, и ложбинку на спине, исчезающую в кружевах низко вырезанного бального наряда.

– Француженка, южанка? – сам себя спросил Лабрюйер. – Гречанка? Да нет же...

Его смущал рост – дама была чуть выше его самого, он привык считать южанок не то чтобы низкорослыми, а обычного для женщин роста; высокой могла быть статная северянка...

– Ставим фон с рыцарским замком! – сказала Каролина. – Ян! Фон номер четвертый!

– Сейчас, фрейлен Каролина.

Все эти древнегреческие пейзажи, виды старых английских парков и швейцарских гор, замки и морские пучины стояли в углу длинными рулонами. Ян выволок нужный, спустил штангу, прицепил его и развернул.

Замок был размещен с краю фона, чтобы посередке стоял или сидел позирующий объект. Но просто так стоять было непринято – требовались обломок колонны, чтобы опереться, или жардиньерка, увитая шелковыми розами, или хоть арфа. Все это мало годилось для Иоанны д'Арк.

– Меч, меч, где меч? – загалдели дамы. – Коломбиночка, меч забыли!

– Да вот же он, под юбками Пьеретты! – отвечала Коломбина, от которой, пожалуй, шарахнулась бы ко всему привычная лошадь ормана, из таких ярких ромбов был сшит ее наряд.

Воительница молчала и даже не улыбалась, когда подружки хохотали в ответ на шутку. Лабрюйер, отойдя в сторону, смотрел на нее – также молча.

А дальше было неожиданное.

– Наташенька, возьми рукоятью вверх, – сказала госпожа Морус, – как на гравюре. Получится крест, да, вот так... и ты молишься кресту, ты клянешься кресту, ну, я, право, не знаю, что еще... Да, да!..

Лицо воительницы преобразилось. Она смотрела на крестообразную рукоять деревянного меча с восторгом и надеждой.

Каролина нырнула под чехол фотоаппарата.

Женщины притихли. Это было уже не сеансом фотосъемки, а чем-то иным.

– Боже мой! – воскликнула госпожа Морус. – Если бы я не знала, что это Наташа, я бы поверила, что перелетела во Францию... Фрейлен Каролина, теперь она встанет, опираясь на меч, как рыцарь, и немного боком...

Лабрюйер вздохнул. Было мгновение, когда и он перенесся во Францию, увидев Орлеанскую Деву перед сражением. Было!

Тот, кто додумался нарядить эту женщину Иоанной д'Арк, угадал точно – была в ней готовность вступить в сражение, было благородное безумие во взгляде, или же – она, сама того не сознавая, оказалась гениальной артисткой.

С артистками Лабрюйер имел дело в труппе Кокшарова и знал, как легко они преобразаются. Но только актеры, войдя в роль, и говорили, и пели, и двигались, слова роли и рисунок мизансцены многое делали за них, а тут – взгляд, движение гибкой шеи, и ничего более не требуется...

Потом Ян менял фоны, приносил и уносил корзинки с цветами, кресло с готической спинкой и кресло-качалку, заведовал электрическими фонарями и выполнял все распоряжения Каролины.

Лабрюйер отступил в самый дальний угол и смотрел. Молча смотрел. Не так, как пресловутый кролик на удава, но вроде того...

Наконец дамам надоело модное развлечение, они стали капризничать, Лабрюйер позвал Пичу и велел поймать трех орманов.

Дамы обступили Каролину с пожеланиями – каждая хотела выглядеть роковой красавицей. Одна лишь Иоанна д'Арк стояла задумчиво, наклонив голову, и жестяные доспехи, уже порядком помятые, не выглядели на ней смешно.

– Наташенька, стой смирно, – сказала госпожа Морус. – Сейчас я это от тебя отцеплю. Ах ты Господи, нужно было взять с собой Феликса, он умеет с этими штуками обходиться! Вера, Даша! Кто завязывал шнуры?! Боже мой, их придется резать...

Каролина побежала за ножницами, и тут Лабрюйер вспомнил, что у него в кармане лежит любимая игрушка, перочинный нож.

Этот нож он купил в Санкт-Петербурге, когда превращал себя в щеголя за государственный счет. Он выбрал французский складной нож «Опинель» с буковой рукоятью, очень острый – при нем приказчик в лавке рассек лезвием, как бритвой, подброшенную газету.

Раскрыв свой «Опинель», Лабрюйер молча и по всем правилам, рукоятью вперед, протянул его – но не госпоже Морус, а Иоанне д'Арк.

Тут только Орлеанская Дева посмотрела на Лабрюйера.

Был, был этот миг, всего лишь миг – когда он протягивал оружие!

Но госпожа Морус тут же схватила нож; поблагодарив, разрешила шнурки и сняла с Иоанны д'Арк нагрудный доспех. Под ним была голубая батистовая блузка со смятыми рюшами, кружевами и фестонами. Воительница преобразилась – однако и в батисте она смахивала на юношу, святого Георгия, победителя драконов. Это было странно – при такой удивительной красоте внушать столь неожиданные сравнения.

И опять по ателье пролетел ураган – дамы, накинув плюшевые ротонды, подхватили свои пестрые юбки, экзотические хламиды, корзинку с венками из шелковых роз, с хохотом устремились к дверям. И вдруг стало пусто. Так пусто, что хоть вешайся.

– Это прекрасный заказ, душка, – сказала Каролина. – Петер, приберись. Не понимаю я этих устаревших женщин – откуда только у них вылетают все ленточки и завязочки? Для чего их столько?

– Что с этим делать, фрау? – спросил Пича, подняв с пола небольшой дамский кошелек.

– Нет, они неисправимы. Кузен, нужно догнать дам и вернуть кошелек.

– Ничего не случится, если мы вернем его, когда они приедут получать карточки, – буркнул Лабрюйер.

– Душка, госпожа Морус живет в трех шагах отсюда, на Елизаветинской, за молочным рестораном.

Лабрюйер подумал и спросил:

– Больше никто не записывался?

Каролина заглянула в конторскую книгу, нарочно для записи заказов заведенную, и доложила: ожидаются два господина, с ними она управится сама.

– Кузина, хотите, я вам жалованье увеличу?

– Кто ж не хочет?

– Чтобы вы оделись прилично.

– Я одеваюсь прилично.

– В вашем обмундировании только в цирке клоунов представлять! Мое терпение лопнуло. Или вы завтра же идете к хорошей портнихе, можно в ближайший «Дом готового платья», или я пишу донесение начальству, или...

– Что?

– Или за руку отведу вас в цирк господина Саломонского!

Лабрюйер собирался было добавить, что это не совсем шутка, что он способен, разозлясь, и не на такие подвиги, но тут дверь ателье снова отворилась, вошли два обещанных господина. За ними третий, пожилой и низкорослый, тащил чемодан.

– Кто тут все поминает цирк Саломонского? – спросил первый господин.

– О волке речь, а волк навстречу! – добавил второй. – Цирк сам к вам пожаловал.

Один из господ был молод, не старше двадцати лет, хорош собой, светловолос, с лихо закрученными усами, второй – чуть за сорок, черноволос и черноглаз, тоже феноменально ушат, и оба – довольно крупного сложения. Их костюмы явно вышли из мастерской хорошего портного, но были чуть более заметны, чем требовал хороший тон: у младшего – клетчатый, причем в клетку довольно крупную, у старшего – цвета маренго.

Эти клиенты также потребовали закрыть ателье и задернуть шторы.

– Не то на тротуаре образуется маленькое дамское кладбище, – сказал старший, который представился как господин Штейнбах. – Где тут можно раздеться?

Когда оба господина появились в костюмах для французской борьбы, Лабрюйер безмолвно согласился – да, есть риск, что дамская толпа перекроет Александровскую. Атлеты и борцы были в большой моде, и когда в цирке Саломонского устраивались чемпионаты по борьбе или по поднятию тяжестей, в первых рядах сидели именно восторженные дамы. Фотографические карточки красавцев пользовались огромным спросом, запас приходилось постоянно обновлять.

– Не всюду умеют хорошо снимать, – пожаловался старший из атлетов. – Мы для экономии времени пошли в ателье Карла Эде на Мариинской, от цирка – пять минут ходьбы. Не то! Были у Борхардта, у Былинского, у Выржиковского, у Кракау. Наконец одна дама сказала, что вроде у Лабрюйера трудится отменная фотографесса. Мы подумали – если мужчины не видят красоты мужского тела, так, может, фотографесса разглядит?

Младший, Иоганн Краузе, засмеялся.

Смотреть на полуобнаженных мужчин, выкатывающих грудь колесом и принимающих великолепные позы – огромные ручищи скрещены на широченной груди, нос задран, усы торчат, – Лабрюйеру было неприятно. Что-то в этом он чуял неправильное, даже стыдное. Щеголять телом – такое не вписывалось в его понятие о мужском характере. Одно дело – когда играешь в театре роль и скачешь с голыми ногами, потому что древние греки не знали панталон. Другое – выставять голые ноги напоказ с единственной целью – чтобы публика визжала от счастья и помирала от зависти. И что любопытно – Каролина тоже не сгорала от восторга. Лабрюйер чувствовал – кузиночке явно не по себе, жизнерадостные атлеты чем-то ее раздражают. Но чем – понять не мог. Вдруг его осенило – недоступностью!

Пока она возилась с камерой, а мужчины позировали, становясь то так, то этак, Лабрюйер, не удержавшись, заглянул в потерянный кошелек. Денег там было немного, два рубля с копейками, но лежал талисманчик – серебряная подкова, чуть поменьше дюйма в длину и в ширину. Он вынул подкову и чуть не вскрикнул, уколовшись: оказывается, это была брошка.

Носить брошку-подкову могла только одна из дам. Она. Иоанна д'Арк. Наташенька... Нет, лучше на французский лад – Жанна.

Лабрюйер перевернул брошку и увидел выгравированные буквы: «РСТ». Что бы они означали? Инициалы, пожалуй. Но не Жаннины – она же Наталья. Какое русское женское имя начинается на «Р»? А мужское? Роман, Родион, новомодное Ростислав... Загадка, однако. Три буквы... И каждая – отдельно, хотя и для вышивок, и для гравировки придумывают обычно переплетенные инициалы. А поместились бы на оборотной стороне подковки переплетенные?

– Отличный заказ, душка, – сказала Каролина, когда атлеты оделись и ушли. – По две сотни каждого вида, всего – тысяча двести карточек! Но нужно будет отнести им контрольки. Для одобрения. Контролек будет, кажется, четырнадцать. Из них пусть выберут шесть.

– В цирк?

– В цирк, душка, в гардеробные. Я не могу – меня к мужским гардеробным не пропустят. Нужно послать Яна.

– Да, там выставлена дамская вооруженная охрана, – прокомментировал Лабрюйер. – Делайте контрольки, я отнесу.

– А я схожу на собрание женского экономического кружка. Прочитаю небольшой доклад о том, как женщина может без особых затруднений освоить ремесло фотографа.,

– Заодно зайду к госпоже Морус, отдам кошелек.

Но до госпожи Морус он не дошел.

Глава третья

В бытность полицейским инспектором Лабрюйер и своих осведомителей имел, и знал, кто поставляет сведения другим инспекторам. Чаще всего это были дворники. Хороший дворник знает о жильцах такое, что они сами давно позабыли. Однажды, когда ловили мошенника, прикидывавшегося монашком с кружкой для пожертвований, именно дворник вспомнил, что пятнадцать лет назад этот мерзавец, уже бывший тогда на подхвате у опытных мазуриков, жил в его доме под своей истинной, а не придуманной фамилией, и даже ходил в гимназию.

Как раз на дворника и рассчитывал Лабрюйер, чтобы узнать о подругах госпожи Морус.

Он сам себе говорил, что это – всего лишь любопытство, обыкновенное любопытство мужчины, встретившего хорошенькую женщину. Откуда взялась, за кем замужем – не может быть, чтобы у такой красавицы не было мужа, или может?.. Приударить за замужней, не слишком рассчитывая на успех, – достойное светское развлечение. А Лабрюйер же получил задание – бывать в рижском свете, вон и визитку ему для этого пошили, черную с полосатыми брюками, и булавку для галстука с жемчужной головкой под расписку выдали.

Но такой уж занятный выдался денек, что к дому госпожи Морус, супруги почтенного профессора рижского политехнического института (с этим господином Лабрюйер познакомился лет десять назад, расследуя дело о студенческих безобразиях) удалось попасть не сразу.

Лабрюйер вышел на Александровскую, имея при себе конверт с контролками, на которые даже не пожелал взглянуть, и кошелек Орлеанской девы. И сразу же его окликнули – знакомое немецкое семейство, которое уже посетило однажды «Рижскую фотографию», вышло прогуляться на сон грядущий. Семейство двигалось в сторону Матвеевской улицы, и Лабрюйер прошел с ним целый квартал, толкуя о погоде и ценах на дрова. Заодно фрау похвалилась – удалось найти хорошую молочницу, которую можно рекомендовать такому солидному человеку, как господин Гроссмайстер – а кстати, отчего вдруг Лабрюйер? Лабрюйер покался в своих театральных грехах, немало развеселив семейство: немцы о его подвигах не знали, потому что на русские спектакли не ходили. Псевдоним был одобрен – в самом деле, хорошая французская фамилия – уже половина успеха. Это была приятная и веселая беседа, необходимая, чтобы в обремененной заботами и замыслами голове установились мир и благодушие.

Потом, вернувшись, он пересек Александровскую на перекрестке с Гертрудинской и неторопливо шел вдоль фасада «Франкфурта-на-Майне», тренированным взглядом выхватывая в суете у входа подозрительные лица. Где гостиница – там и девки, где дорогая гостиница – там и дорогие девки. А при них, при дорогих, «коты» – красавчики сутенеры.

Начиналась ночная рижская жизнь. Город старался соответствовать прозвищу, которое приклеили к нему местные патриоты: «маленький Париж». Город предлагал развлечения на любой вкус: публика попроще могла пойти в скромный театр «Ротас» на Курмановской улице, неподалеку от Двинского вокзала, известный тем, что после спектакля устраивались танцы. Публика повыше рангом выбирала Городской театр на берегу канала (и с нетерпением ждала, когда там запоет обещанная собственная оперная труппа, чтобы не ходить слушать гастролеров в Русском театре), а, насладившись искусством, устремлялась в кафе Шварца для роскошного позднего ужина. Светились окна ресторанов, в парках играли оркестры, променады на набережной были полны молодежи. Все вроде соответствовало списку парижских удовольствий – но трудно было добропорядочному немецкому городу угнаться за безумной французской богемой. Даже собственные варьете, заведение Шнелля и «Аль-

казар» на Александровской, были благопристойны – а кому угодно разврата, необходимой принадлежности портового города, тот пусть едет в Московский форштадт на поиски приключений, да не берет с собой набитого кошелька и золотых часов, всякое случается...

Октябрьский вечер – ранний, у входа в гостиницу горели фонари, из ресторана уже доносилась музыка, подъезжали экипажи и автомобили. Автомобильные сирены взрывались и гудели на разные лады, иные исполняли целые музыкальные фразы, Лабрюйер с удивлением услышал знакомую вагнеровскую тему – «полет валькирий». Эта забава с недавнего времени стала модной у владельцев авто.

Лабрюйеру пришлось остановиться, пропуская вышедшую из музыкального драндулета компанию – две дамы, трое кавалеров, и все чересчур нарядны и голосисты, чтобы вдруг оказаться порядочными. Но компания попала в ресторан не сразу – внутри началась заваруха с визгом и грохотом. Кавалеры отвели дам на пару шагов в сторонку, двери распахнулись, швейцар отскочил, на улицу вылетели чуть ли не кувырком дерущиеся женщины. Кто-то в вестибюле, видать, дал им хороших пинков – одна драчунья растянулась на тротуаре, другая упала на колени. В свете фонаря Лабрюйер узнал знакомое личико.

Это была карманная воровка Лорелай, уже не ценная добыча, а, можно сказать, старая приятельница. На сей раз Лорелай была не в мальчишеской матроске с короткими штанишками и высокими шнурованными ботинками, она оделась почти по-дамски, вот только в побоище потеряла шляпку.

Когда на нее набросилась крупная девица, успела дать оплеуху и замахнулась для другой, Лабрюйер вмешался. Он оттолкнул девицу и, взяв легонькую Лорелай под мышку, просто вынес ее с тротуара прямо на улицу, за чей-то притормозивший «Руссо-Балт».

– Ну, не дура ли ты? – спросил он воровку, поставив ее на ноги. – Мало тебе своего ремесла? Ты что, не додумалась, что тебя так просто во «Франкфурт-на-Майне» не пустят? Что там уже своих хватает, и они всю службу прикормили?

Лорелай ощупывала пострадавшую щеку.

– Скажи спасибо, что зубы уцелели, – буркнул Лабрюйер. – И вот что – видишь, там, напротив, фотографическое ателье? Оно мое. Скажи всем своим, чтобы за квартал обходили.

– Я телом никогда не торговала и торговать не буду, – ответила Лорелай. – Запомни это, охотничий пес. Я туда...

И замолчала.

– Высмотрела дурня с толстым кошельком? Или дуру с бриллиантовыми серьгами?

– Дуру... Ну, пойду я.

– Больше туда не лезь. Тебя шлюхи запомнили.

– Не полезу. А ты точно честным бюргером заделался?

– Точно.

– Жаль. А то бы я тебе кое-что рассказала. Если ты уже не ищейка – то тебе ни к чему. Лабрюйер понял – Лорелай неловко пытается отблагодарить за спасение.

– Можешь рассказать по старой дружбе...

– Я, когда вошла туда вслед за дурой и ее хахалем, одного человека видела. Я его помню, потому что месяц назад в Либаве встречала, в порту. И там, в порту, его называли господином Айзенштадтом. А сегодня, в гостинице, он уже – господин Красницкий.

– Думаешь, профессор картежной академии?

– Я на руки посмотрела – нет, пальцы как сардельки, такими пальцами и в носу не поковыряешь. А ты уж мне поверь, полицейский пес, с ним дело нечисто. Вот он-то как раз не дурень. Ну, прощай!

– Прощай, Лорелай. И вот что...

– Ну?

– Волосы заново отрасти. Тебе с длинными лучше.

- Все равно к лету стричь придется.
- Долго еще собираешься мальчика изображать? До старости?
- Не доживу я до старости, милая моя ищейка.

На том и расстались. Лорелей ушла куда-то к Гертрудинской, Лабрюйер прошел вперед до перекрестка – но Романовскую переходить не стал. Он вспомнил графа Рокетти де ла Рокка, вспомнил ту облаву. Если в Ригу опять появился шулер высокого полета – нужно все же предупредить старых товарищей.

Он повернул обратно.

Тех коридорных, с которыми он свел знакомство при суете вокруг Рокетти де ла Рокка, уже не было – мальчишки выросли. Но кто-то из них наверняка остался при гостинице и ресторане. И вряд ли они знают полицейские новости. Если явиться с вопросами о постояльце – не сообразят, что Лабрюйер уже давно покинул Сыскную полицию.

К счастью, он помнил имена.

Юрис Вилкс за эти годы превратился в Юргена Вольфа и по-латышски говорил уже с большой неохотой, зато немецкий освоил едва ль не лучше прирожденного немца. Он стал буфетчиком – должность очень ответственная, совсем не для латыша должность, и даже выучил довольно много русских слов. Лабрюйер, отыскав его в буфетной, заговорил с ним по-немецки и получил такие сведения: господин Красницкий прибыл месяц назад, поселился в одном из лучших номеров, ищет себе хорошую квартиру в приличном месте, но это тяжкий труд – что ни выберет, супруга против, ей не угодить.

– Так он с супругой? – удивился Лабрюйер.

– Да, господин инспектор. Дама из благородного сословия, очень хорошо одевается. Завела в Риге большие знакомства, всюду ее принимают.

– Немка?

– Русская.

– Понятно. Никому не говори, что я тебя спрашивал. И хотелось бы мне взглянуть на эту пару.

– Это легко устроить.

Лабрюйер прикинул: в паре мошенникам работать выгоднее, красивая дама заводит светские знакомства, собирает вокруг себя кавалеров, а муж аккуратно обчищает их за карточным столом. Что тут можно сделать? Можно, познакомившись, позвать их в ателье, а снимки передать в Сыскную полицию, пусть там разбираются.

– Взгляни, Вольф, может быть, они в зале.

– Как будет угодно господину инспектору.

Буфетчик выдал подбежавшему официанту целый поднос посуды и вслед за ним вышел в зал. Минуту спустя он вернулся.

– Ужинают, господин инспектор. Во втором ряду справа третий стол от входа.

– Там рядом есть свободные столы?

– Второй пока свободен. Сказать Гансу, чтобы посадил вас там?

– Да, сделай милость.

Лабрюйер отдал пальто гардеробщику, посмотрел в большое зеркало – вид приличный, не хуже, чем у богатых постояльцев гостиницы. Подкрутил усы и пожалел, что так и не привык пользоваться помадами, которые сводят кончики усов в задорно торчащие вверх стрелки. В немецкой среде эта манера называлась «жизнь удалась». Может быть, помада изменила бы цвет волосков. Лабрюйеру не очень-то нравилась его рыжеватая масть.

По распоряжению буфетчика официант быстро провел его вдоль стены к намеченному месту. Лабрюйер сел и огляделся. Вспомнилось то забавное время, когда агенты выслеживали Рокетти де ла Рокка, часами сидели в ресторане, а потом отчитывались за каждый потра-

ченный пятак. Теперь Лабрюйер мог заказать самый изысканный ужин – пожалуй, это и следовало сделать...

Он не торопился разглядывать Красницкого со спутницей, чтобы не выглядеть назойливым. Отметил только, что говорят они по-русски. Грех было не прислушаться.

– Я другую брошку тебе куплю, только не ной, – сказал раздраженный мужчина. – Да и подороже, а твоей – грош цена.

– Это память, ты что, не понял? Это память.

– Закажем ювелиру точно такую же. Хочешь – можно дать объявление в газете: нашедшему – вознаграждение, а кошелек пусть уж оставит себе.

– Она не найдется, я знаю, она не найдется.

– Если ты думаешь, что она тебе удачу приносила...

– Это память. Единственная память.

– И непременно нужно было единственную память всюду с собой таскать?

– Непременно.

– Ты становишься невыносима, моя милая. Потерю вряд ли найдешь, новую брошку не хочешь – чего же тебе надо? Я же посылал в фотографическое ателье – там не находили. У госпожи Морус кошелек не находили. Ну, поплачь, если тебе с того станет легче.

– Я никогда не плачу.

Заинтригованный Лабрюйер наклонился и вытянул шею, чтобы разглядеть пару.

Это действительно была Иоанна д'Арк, и с ней – высокий статный мужчина, той породы, которая нравится всем женщинам без исключения: осанистый, плотный, плечистый, с правильным лицом, с прекрасными волосами, подстриженными лучшим парикмахером, такие волосы всегда вызывали у Лабрюйера легкую зависть: очень темные, с деликатнейшим налетом благородной седины. Лет этому красавцу было, пожалуй, уже под пятьдесят. Вот только руки – Лорелей была права, руки он имел пухлые, крупные, прямо сказать – простонародные.

Лабрюйер удивился было – отчего в ателье не сказали, что кошелек с брошкой найден? И сообразил: видимо, послано было только что, сам он отсутствовал, Каролина где-то читала доклад, оставался один Ян, а его, когда нашли кошелек, не было, был только Пича.

Красницкий вел себя по-хозяйски – обращался с Орлеанской девой, как терпеливый муж со взбалмошной женой, при этом поправил ей задравшийся воротник модного жакета. Он и сам был прекрасно, с иголочки, одет – как раз, чтобы втереться в самое приличное общество.

Ну что же, сказал себе Лабрюйер, была иллюзия – и вот она разлетелась в мелкие дребезги. Орлеанская дева – подруга заезжего мазурика. Лебединая шея, природные черные кудри, сейчас убранные в прическу, черты лица – как на итальянской картине, и вся эта роскошь принадлежит мазурику. Больше тут делать нечего.

Официант принес паре горячие жульены в горшочках, Красницкий о чем-то тихо спросил его. Лабрюйер встал, быстро положил кошелек рядом с тарелкой Орлеанской девы, но она, уловив движение воздуха, не иначе, повернула голову – и глаза встретились.

Лабрюйер сделал движение головой, почти судорожное – кивок не кивок, поклон не поклон, – и стремительно понесся через зал к выходу.

Он успокоился только возле Верманского парка. Там на открытой сцене играли вальс Штрауса – может статься, последний раз в этом сезоне.

Иллюзия!

Как в цирке – когда фокусник достает из цилиндра голубей и большие шелковые шарфы. Но фокусник получает деньги за устройство иллюзий – а кто заплатит Лабрюйеру, который сам себе опять придумал иллюзию?

Хорошо хоть, длилось это состояние недолго. Будь Лабрюйер втрое моложе – в голове у него уже разыгралось бы целое кинематографическое произведение, в котором он скакал бы верхом, плечом к плечу с Орлеанской девой, к осажденному Орлеану под энергичные аккорды незримого тапера. А поскольку ему, старому дураку, уже сорок, сделать нужно вот что – отдать фотографическую карточку Иоанны д'Арк тому же Линдеру из Сыскной полиции, пусть присмотрит за парочкой.

Придумав это, Лабрюйер затосковал.

На самом деле, тоска зрела уже давно – и вот выплеснулась. Хоть покупай две бутылки водки и употребляй их в одиночестве. Суетливая жизнь зажиточного владельца фотографического ателье вроде и занимала голову целиком, однако души не касалась. А вот не менее суетливая жизнь полицейского агента, потом – инспектора, на самом деле имела свойство заполнять душу. Было в ней немало скверного – но ведь были и радости. А Лабрюйер еще не научился приходить в восторг, когда Каролина показывала конторскую книгу с заказами, расходами и вполне приличными для новорожденного заведения доходами.

В цирк он попал незадолго до антракта.

Его не сразу пустили в служебные помещения, но он прорвался и оказался в довольно-таки вонючем и тесном мирке. Альберт Саламонский, затеяв чуть ли не четверть века назад строить рижский цирк, малость не рассчитал – купленной земли оказалось, если вдуматься, недостаточно. Прежде всего, это сказалось на размере манежа. Правильный его диаметр – восемнадцать с половиной аршин, и цифру не с потолка сняли, а установили опытным путем за годы существования конного цирка; именно такой диаметр круга был удобен для лошадей и наездников. В рижском же цирке пришлось сделать шестнадцать с половиной аршин – больше никак не получалось. И прочие помещения тоже были невелики, а по двору, захлапленному всяким загадочным имуществом, пробираться приходилось очень осторожно. Задние ворота выходили на короткую и узкую Парковую улицу – между Мариинской и Верманским парком.

Во время представления в подковообразном коридоре, охватывавшем манеж с одной стороны (противоположная подкова была зрительским променадом), толпилось немало народу, и весь этот народ вел себя, как выпущенная на прогулку палата буйнопомешанных: кто-то стоял на голове, кто-то крутил колесо, кто-то скакал козлом, кто-то матерно ругался с братьями из-за порванного костюма. Тут же вертелись девушки в коротких юбочках – жонглерши, акробатки и наездницы. Тут же сидели на цепи дрессированные звери – с одной стороны медведи, с другой – большие псы. Медведи тоже вносили свою лепту – один, встав на задние лапы, приплясывал, другой кувыркался.

Лабрюйер пробивался к лестнице, ведущей на второй этаж, к гримуборным, его толкнули, он оглянулся, чтобы увидеть и обругать обидчика, и увидел самый диковинный экипаж, какой только возможен.

Белая лошадь была впряжена в двухколесную таратайку, причем колеса – чуть не в человеческий рост, а сиденье для кучера пряталось среди каких-то железных этажерок, увитых гирляндами тряпичных роз и незабудок. Лошадь держал под уздцы конюх, а возле таратайки стояла высокая тонкая женщина в преогромной шляпе и вопила так, что, наверно, на вокзале было слышно:

– Эмма! Эмма! Эмма!

Лабрюйер отвык от закулисных воплей и потому как можно скорее взбежал по лестнице.

Штейнбах и Краузе выступали во втором отделении – составилась небольшой чемпионат, собралось шесть борцов из остзейских губерний и еще две женщины-борчихи, истинно цирковая диковинка. Они приняли Лабрюйера в гримуборной, отобрали шесть контролек, пригласили посмотреть борьбу и повеселиться – дерущиеся дамы казались им заниматель-

ным зрелищем. Лабрюйер ответил, что бабью драку он этим вечером уже наблюдал, ничего хорошего. Тогда его угостили хорошим коньяком – бутылку атлеты прятали в большом фанерном кофре. Он подумал – и не отказался.

– Что-то случилось, – сказал Штейнбах, прислушавшись.

Лабрюйер удивился – шум как будто был прежним, и тонкая дверь гримуборной от него не спасала.

Краузе, уже в борцовском трико, выглянул в коридор. По коридору бежали к лестнице две полные дамы в халатах-кимоно.

– Что там случилось? – спросил он по-немецки.

– Ах, убили, убили!

И дамы, топоча каблуками, скрылись за поворотом.

– Убили? – спросил Лабрюйер. И тут он слышал крик снизу:

– Полиция!

В голове явственно щелкнуло. Ноги сами собой выпрямились, каблуки ударили в щелястый пол. И был момент – как будто кто взял Лабрюйера за шиворот и, приподняв, подвесил в воздухе, ощутимо густом из-за тяжелого запаха дешевого грима. Следующий момент застал его уже на лестнице.

Вопили на конюшне.

Лабрюйер растолкал артистов и цирковых служителей, оказался у загородки в углу и все понял.

На соломе лежали маленькие белые собачки, шесть собачек, все – мертвые. Рядом стояла на коленях женщина и горько плакала.

– Так надо же телефонировать в полицию! Отчего не едет полиция? – совсем ошалев, спрашивали друг дружку артисты.

– Тут полиция, – сказал Лабрюйер. – Я полицейский инспектор Гроссмайстер. Что произошло? Кто-нибудь один – говорите!

– У мадмуазель Мари собак отравили, – по-русски ответил мужчина, самый из всех, наверно, вменяемый.

– Вот сволочи! – не сдержался Лабрюйер.

– Сволочи, – подтвердил мужчина.

– Это кто-то из своих.

– Нет.

– Отойдем.

Они отошли к воротам, ведущим в цирковой двор.

– Почему вы думаете, что не свои? – спросил Лабрюйер, знавший, на что способны артистические натуры. – И кто вы?

– Я конюх, прозвание – Орлов.

Лабрюйер посмотрел на него и решил, что на орла этот человек вряд ли похож, но что-то птичье в нем есть: плотный, невысокий, голова ушла в плечи... что-то совиное, пожалуй...

– Так почему вы подозреваете чужого, господин Орлов?

– Потому что она еще врагов не нажила. Вот если бы у фрау Шварцвальд голубей отравили – то сразу ясно, чьих ручонок дело. Шварцвальдиха умеет хвостом крутить. Господин Освальд с нее глаз не спускает, а Освальдиха-то все видит...

– Это, может, так, а может, и не так, – возразил Лабрюйер, а в голове у него уже нарисовался тот самый листок с записями, который следует брать с собой, когда идешь отчитываться перед начальством. Версия первая – отравила своя же цирковая дура-баба из ревности. Версия вторая – получивший отставку любовник. Версия третья – вылезла на свет Божий

давняя ссора. Версия четвертая – кто-то из рижских поклонников, не добившись успеха, отомстил...

– А как бы чужой человек забрался на цирковую конюшню? – спросил Лабрюйер, и завязался самый увлекательный для полицейского инспектора разговор о заборах, воротах, прыжках в окошко и военных хитростях.

Женщины увели мадмуазель Мари, второе отделение уже началось, Орлова ждали его обязанности, и Лабрюйер неторопливо пошел прочь. Он вышел в фойе, дошел до служебного входа – и свернул в дирекцию. Там он представился полицейским инспектором и телефонировал бывшему сослуживцу Линдеру.

– Надо сдать дохлую собаку в лабораторию, – сказал он, изложив свои соображения. – И надо как-то взяться за это дело. Они тут уверены, что полиция уже занимается отравлением, и телефонировать в управление не станут, подавать жалобу тоже не станут, нужно что-то придумать...

– Да... – задумчиво ответил Линдер. – Как же я ни с того ни с сего в цирк заявлюсь? Что я начальству скажу? Проходил, мол, мимо цирка, слышу – полицию зовут?

– Скажи – был этим вечером на представлении...

– Вот-вот! – развеселился Линдер. – А мне скажут: тебя, подлеца, посылали в помощь Менжинскому, а ты в цирк развлекаться побежал! Давай-ка ты сам, а? Тащи завтра эту собаку. Я с утра буду. А потом что-нибудь придумаем. Даже если ты сам следствие проведешь – начальство тебя знает и буянить не станет. Подумаешь – шесть дохлых шавок. Не бриллианты же!

– Черт бы все это побрал... – проворчал Лабрюйер. Вот уж о чем он всю жизнь мечтал – о прогулке по Риге с дохлой собакой под мышкой. Но деваться было некуда – заварил кашу, теперь расхлебывай.

Однако странное чувство им завладело – какой-то несуразный протест проснулся в душе и сердито полез наружу. Жизнь добропорядочного бюргера, на которую Лабрюйер сам себя обрек, связавшись с контрразведкой, оказалась утомительна и, при всей беготне, чересчур спокойна – не доставало погони. А если уж Лабрюйер собрался что-то совершить вопреки и наперекор – то и совершал, потому что свое упрямство очень уважал.

Если разбираться в деле об отравлении собак – то по горячим следам; так он решил и вернулся за кулисы.

Конюху Орлову было не до него, но Лабрюйер отыскал другую особу, на его взгляд, более подходящую: немолодую немку, служительницу при дрессированных голубях, которая, не имея в жизни другой отрады, целыми днями обитала при больших, скорее похожих на вольеры, клетках. Лабрюйер не знал, что этих птиц можно дрессировать, но немка (ее звали фрау Бауэр, и была она ростом с двенадцатилетнюю девочку, худенькая, седенькая) рассказала: многого от голубей не добьешься, но научить их слетаться по знаку в одно место, ходить по жердочкам и опускаться в ладони дрессировщицы не так уж сложно. А дрессировщица выезжает в разубранном гиляндами экипаже, изумительном, сказочном экипаже, и получается очень красиво – прекрасная женщина и прекрасные голуби. Тут Лабрюйер понял, что фрау Бауэр толкует о таратайке, которую он видел за кулисами. Железные этажерки, оказывается, предназначались для голубей.

Фрау Бауэр подтвердила – никто из своих не мог отравить собак, она бы видела, если бы кто-то из артистов или служителей подошел к загородке и кинул им отравленный корм.

– Бедная фрейлен Мари, – сказала фрау Бауэр. – Не представляю, что она теперь будет делать! Такая молоденькая – и такое несчастье... Умоляю вас, найдите этого злодея!

– Или злодейку.

– Это был мужчина. Ни одна женщина не способна убить эти очаровательные создания, – уверенно сказала фрау Бауэр. И Лабрюйер понял – перед ним настоящая, неподдельная, убежденная в своей правоте старая дева. Вроде Каролины...

Решив продолжить розыск утром, он попросил фрау Бауэр завернуть одну из собак в мешковину, чтобы можно было забрать ее утром. Фрау пообещала, и он отправился на Александровскую, в свое фотографическое ателье.

Мысли о ходе розыска развлекали его всю дорогу. Они были куда приятнее мыслей о стоимости аппарата для просушивания карточек и нового объектива, похожего на старинную мортиру. Но, проходя мимо «Франкфурта-на-Майне», Лабрюйер надулся и засопел. За одним из окон была фальшивая Иоанна д'Арк, и воспоминание о ней раздражало хуже всякой зубной боли.

Глава четвертая

Вернувшись в ателье, Лабрюйер отнес контрольки Каролине, которая уже ждала в лаборатории.

– Вы что-то мрачны, душка, – сказала фотографесса. – Я уж думала, не дождусь вас.

– Помрачнеешь тут...

Злясь на себя за ребяческую доверчивость, Лабрюйер рассказал Каролине про господина Красницкого и Орлеанскую деву. В собачью историю решил ее не посвящать – мало ли, донесет питерскому начальству, что агент Леопард дурака валяет...

– Нужно как-то Моруса предупредить, и Семяцкого тоже, – решил он. – Кузина, будете печатать карточки – сделайте для меня полдюжины с этой дамой. Лицо в медальоне, без жестяных доспехов.

– При нашем ремесле, душка, семейство карточных шулеров тоже может пригодиться, – ответила Каролина. – Такие люди, если их прижать, берутся за неприглядные поручения.

– Сам знаю...

– Может, у них уже хвост замаран. Давайте-ка, душка, перешлем портретик в Питер. Глядишь – получим кнутик, чтобы этой запряжкой править...

– Хорошая мысль.

Лабрюйер не думал, что способен вложить в два простых слова столько злости. Вдруг очень захотелось устроить Орлеанской Деве хоть мелкую пакость; желание недостойное, да и не виновата мошенница, что показалась старому дураку Иоанной д'Арк, но, может, от осознания маленькой мести на душе посветлеет?

Он оставил Каролину в лаборатории, зашел к Круминю, послал Яна на помощь фотографессе, сам пошел домой. Как всякий холостяк, он держал дома запас продовольствия и поужинал бутербродами с копченой рыбой и чаем. И успокоился.

Утром его ждала маленькая неприятность. Когда он шел дворами с Гертрудинской в свое фотографическое заведение, его встретили сестрицы, Марта и Анна. Им бы полагалось шить у окошка, но они вышли во двор – явно подкараулили Лабрюйера и не стеснялись этого.

– Господин Гроссмайстер, мы хотим вам сказать... Эта особа, фрейлен Менгель... Эта особа ведет себя недостойно! – заговорили они наперебой. – Неприлично! Недопустимо!

– А в чем дело?

– Она два раза не ночевала в своей комнате. Она уходила в десять вечера, а возвращалась в два ночи! Вы понимаете, что это означает?!

Это означало, что блюстительницы нравственности допоздна не спали, чтобы собрать доказательства непристойного поведения Каролины.

– У фрейлен Менгель в Риге есть пожилая родственница, которая нуждается в уходе...

– Лабрюйер задумался, где бы поместить старушку, подальше от Александровской улицы. – Кажется, где-то в Агенсберге.

Агенсберг был тем хорош, что на другом берегу Двины, добираться туда днем, через понтонный мост, – еще куда ни шло, есть и орманы, и пароходы, а выбираться оттуда ночью – большая морока.

– Мы не хотим жить рядом с такой особой, – сказала старшая сестрица, Марта. – Мы не такие.

Из чего следовало, что вранью Лабрюйера девицы не поверили.

– Вы ошибаетесь, – ответил он. – Фрейлен – самого благородного поведения. Ее не интересуют такие вещи.

А сам еле удержал усмешку: значит, Каролина уже выполняет тайные задания питерского начальства. Конечно, могла бы хоть намекнуть. Но если ей велено соблюдать обстановку строжайшей секретности – пускай соблюдает. Потому что пока его, Лабрюйера, дело – фотографическое ателье. И если для него будут более соответствующие новому ремеслу поручения – ему об этом скажут.

В фотографическом заведении его ждала неприятность – соседские мальчишки побили Пичу. Расквасили ему нос, подбили глаз, наставили синяков, но Пича держался стойко. Причину драки не сказал никому, и дворник Круминь, пришедший сказать, что сынишка в ближайшие дни не работник, даже спросил Лабрюйера, не знает ли он чего о происшествии; может, Пичу мальчишки и раньше преследовали, а он молчал?

Лабрюйер расспросил о подробностях. Оказалось, Пичу отнял у драчунов старый городской Андрей.

Говорят, пуганая ворона куста боится, а Лабрюйер, связавшись с контрразведкой, стал хуже всякой вороны: что, если кто-то уже присматривает за «Рижской фотографией» и пытается через Пичу собрать сведения? Оставив заведение на Каролину и Яна, Лабрюйер пошел отыскивать Андрея. Тот жил по соседству, в деревянном домике, в самой глубине квартала. Домик имел по меньшей мере три выхода, каждый – в отдельный двор, дворы эти были – с гулькин нос, однако с собственными лавочками и грядками. Как раз на такой территории Лабрюйер и обнаружил старика. Тот был не один, а с Пичей.

Как всякий отставной унтер-офицер, подавшийся в городовые, Андрей понимал службу так: будь строг с чужаками, договаривайся полюбовно со своими, и будет тебе в жизни счастье. Он за десять лет службы узнал все рижские наречия, включая цыганское, а сейчас разговаривал с Пичей по-латышски. Разговор был странный, Лабрюйер даже забрался на перекладину штакетника, чтобы заглянуть во двор и понять смысл. Оказалось – Андрей учил Пичу приемам штыкового боя.

Его поучения были просты и надежны: коли ты уродился низкорослым, то умей защитить себя всем, что подвернется под руку, и дворницкая метла в умелых руках – страшное оружие. Опять же, уличная драка – не то событие, где призывы к совести хоть что-то значат. Если на тебя кидаются двое – отбивайся от двоих, вот и вся недолга.

Заместо ружья со штыком у Андрея была эта самая палка от метлы, и он ею с блеском показывал приемы – лучше, пожалуй, чем в молодые годы на полковом плацу. Лабрюйер даже залюбовался.

Потом он, как полагается приличному господину, вошел в калитку и завел разговор о драке.

Андрей объяснил – Пича ходил по каким-то своим делам через квартал наискосок, дворами; мальчишки, вообразив себя хозяевами, стали требовать плату за проход, сперва в шутку, потом уже не в шутку, он же продолжал ходить из чистого упрямства, хотя обходный путь, по улицам, был всего минуты на две длиннее. И вот теперь, из того же упрямства, пришел учиться бою.

Лабрюйер это одобрил и спросил будочника, нельзя ли и ему присоединиться к урокам.

Поступая на службу в Сыскную полицию, Лабрюйер бойцом не был – а был неутомимым ходоком, метким стрелком, знал несколько ухваток рукопашного боя, кое-чему обучили товарищи, имел тяжелый кулак; этого хватало. А вот теперь, когда он сам не знал, какие приключения предстоят, следовало, пожалуй, поучиться тому, о чем говорил Андрей; искусству воевать подручными предметами. А тому можно было верить – он на всякие драки насмотрелся.

Андрей удивился господской блажи, но согласился дать несколько уроков.

Разобравшись с Пичиными бедами, Лабрюйер поспешил в цирк. При этом он чувствовал себя шкодливым котом, что втихомолку стянул со стола гирлянду пахучих франкфурте-

ров и тащит в надежное место. Для кота сосиска – счастье, а для агента Леопарда, заскучавшего в роли почтенного обывателя, возможность раскрыть тайну отравления собачек – счастье.

Утром в цирке было шумно – репетировал оркестр, на манеже скакали акробаты, там же пристроился с чемоданом мячей и булав жонглер. За кулисами оборудовали закуток для занятий атлетов, и в этом закутке тягали гири Штейнбах, Краузе, еще четверо плотных мускулистых борцов, одетых как попало – кто в старых кальсонах, кто в широких мешковатых штанах. Там же были расстелены пыльные маты.

– О, господин Лабрюйер, доброе утро! – воскликнул Штейнбах. – Неужели наш заказ уже готов?

– Нет, господин Штейнбах, заказ большой, и когда мои служащие справятся, я сам его принесу, – по-немецки, как и собеседник, ответил Лабрюйер.

– Зачем же тогда вы к нам пожаловали? Хотите знать изнанку наших цирковых чудес? Или сами не прочь тяжести потаскать? Это теперь модно, и ваше сложение... – Штейнбах внимательно оглядел фигуру Лабрюйера, насколько позволяло пальто. – Да, ваше сложение весьма располагает.

И это было чистой правдой – борцы имели тот же тип сложения, ни одного длинноногого и худого, как молодые офицеры, Лабрюйер не заметил, у всех – крепкие плечи, мощные ляжки и икры, даже заметные животики. И еще усы – сейчас, с утра, вислые, но вечером эти длинные усы будут нафабрены и лихо подкручены, к вящему восторгу зрительниц.

– Сперва – дело, – честно сказал Лабрюйер. – Видите ли, я до того, как получил наследство и открыл ателье, служил в полиции. Вчера я видел на конюшне, как плакала мадмуазель Мари. Ваши товарищи требовали, чтобы кто-нибудь вызвал полицию. Я и сам не понял, как вышел вперед и объявил себя полицейским агентом. В общем, я телефонировал сослуживцам, и они попросили меня по старой памяти расследовать это несложное дело... раз уж ввязался... Так что я отправлю собачий труп экспертам, а сам опрошу всех, кто днем бывает в цирке. Понятно же, что собачек отравили не во время представления.

– То есть по доброте душевной? – уточнил Штейнбах.

– В сущности, да. И потому, что сослуживцы сейчас заняты важным делом, им не до собачек. А я помню одну гадкую историю. Тут же, в цирке случилась. Служитель-униформист сошел с ума. Ему стало казаться, что в животных сидит нечистая сила, и он подсыпал им в пищу толченное стекло. Не хотелось бы, чтобы у вас завелся отравитель и пострадала другая живность...

Дело о толченом стекле Лабрюйер расследовал – но не в цирке. Это была склока между орманами, погибло несколько лошадей. Он хотел напустить страху на цирковой народ, чтобы ему охотнее отвечали на вопросы, и не более того.

– Так-так-так... – пробормотал Штейнбах. – Надо предупредить всех, у кого животные... Эй, Готлиб! Готлиб! Да, да, я тебя зову!

Парнишка, тащивший на манеж высокий металлический табурет на широко расставленных ногах, обернулся.

– Проводи господина к фрау Берте, – велел Штейнбах. – Она только что приехала и еще не успела раздеться. Ну, живо, живо!

Парнишка поставил табурет к стене, и Лабрюйер подивился – это под чью же задницу? Чтобы сидеть на такой штуке, нужно быть ростом – как тот деревянный святой Христофор, что стоит в будке на двинском берегу. То есть – в сажень с четвертью, не меньше.

Готлиб привел его к той гримуборной на втором этаже, которую занимала фрау Берта. Лабрюйер постучал и по-немецки осведомился, можно ли войти. Ему позволили. Дверь открыла малютка фрау Бауэр.

Фрау Берта Шварцвальд была тоща и стройна, как будто стремительно вытянувшийся за лето подросток. Однако личико она имела круглое, глаза – большие и выразительные, явно обведенные черным карандашом. Она сидела перед большим зеркалом, еще в шляпе; повернулась, и это простое движение было то ли утонченным, то ли вычурным, Лабрюйер не понял. Он сразу узнал Берту – это она стояла тогда за кулисами возле причудливой колесницы.

Вместе с ней там была красивая круглолицая женщина с невозможно пышной прической.

Лабрюйер представился и объяснил, для чего явился.

– Я тебе говорила, Эмма, что нужно забрать птиц со двора в конюшню, – сказала фрау Берта. – У меня номер с дрессированными голубями, господин Лабрюйер. Приходите, я достану вам контрамарку. У меня замечательные птицы, знатоки в восторге. Я купила английских карьеров, красавцы, умницы, прекрасная память, длинные лапки, длинные шейки, прелесть что такое! Мне привезли голубей из Вервье... но вам это, наверно, ничего не говорит?..

– Увы, ничего, – согласился Лабрюйер. – Но было бы жалко потерять таких замечательных птичек...

Тут он понял, что фрау Берта и сама чем-то походит на птицу – посадкой головы, что ли, быстрыми поворотами этой головы, тонкими длинными пальцами, охватившими ручку кресла и сильно смахивающими на цепкую птичью лапу.

– Я жадная, – вдруг призналась фрау Берта. – Я набрала полсотни птиц и никак не могу с ними расстаться, всех вожу с собой. А надо бы по меньшей мере половину куда-то деть, продать знающим людям. Но я никого не знаю...

– Это наша общая беда, – добавила круглолицая. – У меня с братьями и мужем велосипедный номер, мы ездим из города в город и успеваем познакомиться только с такими же бродячими артистами. Мужчинам легче, а мы, женщины, обречены или довольствоваться обществом артистов, или губить репутацию.

– Да, Дора, ты правильно это назвала – беда, – согласилась фрау Берта. – Мы в каждом городе чужие, совсем чужие, и в этом тоже, я познакомилась только с поклонниками, знаете, с этими чудаками, которые шлют мне корзинки роз и фиалок, а в приличном обществе совсем не бываю... Эмма, что ты стоишь? Ступай к птицам, дорогая.

Маленькая фрау сделала книксен и вышла.

– Что вы можете сказать о мадмуазель Мари? Были у нее враги? Может, отвергнутый поклонник имеется? – предположил Лабрюйер. – Мстительный отвергнутый поклонник?

– О мой Бог, я не знаю... Она такая, такая... Я совершенно не понимаю, что она делает в цирке! Собак ей выдрессировал кто-то другой, не спорьте, это все знают!

– Я не спорю, фрау Берта.

– Она не из наших... может быть, она сбежала от мужа и скрывается в цирке?.. А любовник ездит всюду за ней следом? А муж подкупил служителей, они отравили собак, и теперь ей, бедняжке, придется вернуться домой?..

– Это любопытно... – пробормотал Лабрюйер, мысленно записав в воображаемом блокноте: узнать о семейном положении мадмуазель Мари.

– Отвергнутый поклонник? – предположила Дора. – Ей посылает цветы один господин, наверно, это он и есть. За кулисами я его ни разу не встречала. Кто еще мог отравить собачек? О, я знаю! Она выгнала служительницу, которая была при собаках с начала сезона! Сейчас она уже наняла Марту Гессе, Марта всю жизнь служила здесь уборщицей, и ей это уже не под силу, а покормить, выгулять и причесать собачек не так уж трудно. А та служительница... вы представляете себе, она каждый вечер пьянствовала с конюхами!..

Лабрюйер решил, что об этом расспросит Орлова.

Потом он по совету фрау Берты навестил еще несколько артисток и наслушался самых разных версий. Но ничего конкретного ему не сказали. Тогда он спустился в конюшню и нашел Орлова. Орлов рассказал ему о собачьем распорядке – во сколько зверюшек кормили, во сколько выводили на прогулку.

Кухня, где готовили для животных, была во дворе, одна на всех, и приходилось договариваться. Орлову плита была нужна, чтобы греть воду – для мытья лошадей и для запаривания конской «каши-маши» из овса, отрубей и льняного семени. Поэтому он знал, когда предшественница Марты Гессе, а потом и сама Марта стряпали собачкам утреннюю и вечернюю еду.

Лабрюйер с Орловым вышли во двор, осмотрели кухню, изучили тот свободный от хлама пятачок, где выгуливали собак.

– А это что? – спросил Лабрюйер, показывая на высокие кубические клетки, где сидели голуби.

– А это Шварцвальдихи хозяйство.

С конюхом Лабрюйер говорил по-русски, и тот отвечал, не боясь, что служители-немцы подслушают и донесут в дирекцию.

– Она не боится, что они простудятся?

Голуби в клетках были диковинные – с преогромными причудливыми наростами вокруг клювов. Надо полагать, птицы были искусственно выведены и потому – капризны и склонны к хворобам.

– А черт ли их разберет... По-моему, им так даже лучше, чем в конюшне. Там вонь, воздух спертый. А тут вроде ничего.

– А лошадей выводят на свежий воздух?

– Лошадок гуляем... Да и купаем во дворе в хорошую погоду.

Лабрюйер поднял голову.

Справа была высоченная стена доходного дома. За окнами висели мешочки с продуктами. Знакомая картина небогатого житья...

– Покажи-ка ты мне эту Марту Гессе, – сказал Лабрюйер.

– А ее сейчас, поди, нет. У нее дочка тут рядом живет, она у дочки, за внуками смотрит. Она с утра обыкновенно приходила, собак обиходит, на репетиции поработает – и к дочке.

– То есть кормила, выгуливала, запирала в загородке – и к дочке?

– Да, так и выходило. Потом перед представлением приходила часа за полтора, потом собак с манежа принимала, опять выгуливала, ужином кормила.

– А что за полтора часа до представления с ними делала?

– Да выгуливала же, следила, чтобы все опростались. А то если на представлении – стыдоба.

Лабрюйер достал блокнот и записал собачий график.

– Так выходит, что они днем, часов примерно пять, были без всякого присмотра?

– Ну, как – без присмотра? Все время же кто-то на конюшне крутится или в шорной сидит. Из шорной загородку видно.

– Так уж все время?..

– А черт его знает... – Орлов поскреб в затылке.

– Чужие на конюшню часто заглядывают?

– Бывает, в антракте господа с детишками приходят, лошадок морковкой покормить. Это позволяется.

– Взять в аренду детишек несложно...

Ситуация никак не прояснялась. В течение пяти дневных часов собак могли отравить свои. В антракте – могли подбросить отраву в загородку чужие. То есть следовало внимательно изучить окружение мадмуазель Мари. Может, не отвергнутый поклонник, как

намекала Шварцвальдиха, а чья-то жена, недовольная мужниным интересом к посторонней особе.

И тут Лабрюйер чуть не хлопнул себя по лбу.

Чужие приходили на конюшню в антракте – а когда погибли собаки? Следовало узнать точное время.

Орлов, понятно, часов при себе не имел. Но сказал – было замечено, что подышают, когда шел номер фокусников Бальдини.

Пошли к форгангу, где обычно висело авизо – расписание номеров, причем не со словами, а с картинками, на случай, если приедут артисты из какой-нибудь Индии или даже из Китая. Высшая школа верховой езды изображалась огурцом на четырех подпорках, с кое-как приделанной лошадиной головой, номер жонглера Борро – пятью кружочками. Номеру Бальдини соответствовал корявый череп. Орлов объяснил – Бальдини вызывает из сундука привидение в белом саване и с черепом.

– Бррр! – сказал Лабрюйер.

Остановили несколько человек и разобрались – собаки начали помирать в середине первого отделения. То есть никто чужой собственной персоной их отравить не мог. А вот если чужой подкупил кого-то из служителей – другое дело.

Лабрюйер и не подозревал, что дело о гибели шести собачек окажется таким сложным.

Так ничего толком и не выяснив, он пошел искать мадмуазель Мари. Но ее в цирке не было – что ей там делать, если репетировать не с кем?

В дирекции Лабрюйеру сказали – мадмуазель Мари здешняя жительница, ее включили в программу из сострадания, а адрес – вот он, адрес, улица Ключевая, дом шестой, вход со двора.

Тогда Лабрюйер телефоновал в Полицейское управление Линдеру и попросил прислать служителя за собачьим трупом, труп же взять у фрау Бауэр.

Время было уже обеденное, и Лабрюйер решил вернуться в свое ателье, убедиться, что эмансипэ Каролина ничего не натворила. А пообедать можно и напротив, отчего бы нет, он может это себе позволить, черт возьми, он должен это себе позволить, пусть вся Рига видит – дела у него идут превосходно! И он свой человек во «Франкфурте-на-Майне»!

Каролина обслуживала почтенное семейство – папеньку, маменьку, бабиньку, тетеньку и пятерых младенцев. Всех их нужно было красиво разместить на фоне швейцарского пейзажа. Когда это удалось, оказалось, что младенцы снимаются впервые. Магниевая вспышка привела одних в ужас, других в восторг, композиция рассыпалась. Лабрюйер заглянул в самую неподходящую минуту – старшие никак не могли унять малышей.

– Что тут у вас за бешеный дом? – шепотом спросил он Каролину. – И успели ли вы сделать цирковые фотокарточки?

– Сделаю вечером, – пообещала Каролина. – На сегодня записаны еще клиенты.

– Портрет госпожи Красницкой? В медальоне?

– Тоже вечером.

– У нас неприятность. Ваши соседки заметили, что вы по ночам где-то пропадаете.

– Вот дурные курицы!

– Им высокая нравственность не позволяет жить под одной крышей с вами...

– Клянусь вам, душка, что в последние десять лет ни один мужчина даже не посмел на меня посягнуть...

– Тише...

Лабрюйер даже вообразить не мог того отчаянного мужчину, который соблазнился бы Каролиными прелестями и пошел в атаку.

– Я сниму другое жилье, у меня есть на примете...

– Хорошо, – с тем Лабрюйер и сбежал.

Он еще не освоился с повадками зажиточного человека и не был уверен, что костюм, в котором он ходил в цирк, годится для обеда во «Франкфурте-на-Майне». Но идти домой и переодеваться он совершенно не желал. Обедать в ином месте тоже не желал...

Видеть Иоанну д'Арк, опять же, не желал...

Но когда он увидел ее в обеденном зале, с тем же привлекательным мужчиной, он сел так, чтобы ее профиль был в поле зрения. Без всякой цели, само получилось. Отчего бы и не полюбоваться красивой мошенницей? Возможно, напоследок – Лабрюйер собирался передать портрет в Полицейское управление.

Она сидела, наклонившись вперед, темные кудри были подобраны, изумительная линия шеи и подбородка, как показалось Лабрюйеру, была обведена серебряным карандашом и светилась.

Кельнер дважды осведомился, что господину угодно заказать, и тогда только Лабрюйер опомнился.

Он взял полный обед с графинчиком красного вина. При этом Лабрюйер еще не был голоден. Опять же – само получилось!

В дюжине шагов от него госпожа Красницкая склоняла нездешний профиль над фарфоровой тарелкой – местной работы, кузнецовского завода. Он не отводил глаз – при этом не имел в голове ни единой мысли, просто уставился, как баран на новые ворота.

И вдруг она повернулась. Взгляды встретились.

Встреча длилась ровно миг. Потом Иоанна д'Арк стала тыкать вилкой в кусочек мяса, а Лабрюйер схватил столовый прибор, хотя перед ним даже закуски еще не стояло, и воззрился на пустую тарелку. Пару секунд спустя он обозвал себя старым дураком.

Мало ли в Риге ресторанов? И мало ли в том же «Франкфурте-на-Майне» мест, откуда не виден этот злосчастный профиль???

Сейчас пересаживаться было нелепо.

Вдруг госпожа Красницкая встала и быстро подошла к столику Лабрюйера. Он вскочил.

– Я хотела поблагодарить вас. Эта брошка мне очень дорога... и вы... и я вам... я только пожелать могу! Чтобы вы никогда не теряли близких...

Она повернулась, подол тяжелой юбки хлестнул по ногам Лабрюйера. Ее мужчина уже смотрел на нее с неодобрением. Она вернулась к столику и услышала короткий выговор – шепотом, чуть ли не сквозь зубы.

Ага, голубушка, подумал ошарашенный Лабрюйер, связалась с жуликом, так терпи. Но это была одна мысль, на самом деле ошарашенное сознание одновременно породило вторую, и они были – как выстрел из двустволки. Вторая ни в какие логические ворота не лезла – она состояла из одного слова, повторенного многократно: «Ты, ты, ты...»

Глава пятая

Лабрюйер ни слова не сказал фотографессе о своем цирковом следствии. Зайдя после обеда в ателье, он отпустил Каролину и Яна на полчаса и посидел там немного, отвечая на телефонные звонки и записывая заказы. Когда пришли сниматься две гимназистки с мамами, он развлекал их, пока не пришла Каролина.

Потом он пошел на Ключевую – искать мадмуазель Мари.

По документам она звалась Марьей Скворцовой и оказалась девицей лет двадцати двух, со стройной и ладной фигуркой и с простым бесцветным личиком.

В цирк она действительно попала по знакомству – двоюродная сестра была замужем за дирижером циркового оркестра. Собачек купила и дрессировала потому, что страстно любит животных. А карьера артистки – все же лучше, чем карьера гувернантки (Лабрюйер понял, что любовь к детям в девице еще не проснулась).

– Есть ли у вас враги среди артистов и цирковых служителей? – спросил Лабрюйер.

Марья Скворцова поклялась, что врагов не имеет, никто за ней не увивался, никого она ничем не обидела.

– Вот только Анну Карловну... – вспомнила она.

– Что за Анна Карловна?

– Я ее взяла ходить за собачками – кормить, гулять с ними, помогать на репетициях. Я бы и сама могла, но так полагается, я же артистка... – мадмуазель Мари вздохнула. – Что же делать-то? Не вышло из меня артистки... А ведь все так хорошо получалось, я два платья сшила!..

– Так что Анна Карловна?

– Знакомая это. Я же много платить не могу, а она согласилась за пятнадцать рублей в месяц – и это не весь день же работать, а часа четыре в день, не больше! Я думала – как хорошо, что она согласилась! А потом узнала – она куда ни нанималась, ей всюду потом от места отказывали, потому что она – пьющая.

– Это я знаю.

– Я терпела, терпела... стыдила ее, стыдила... а потом мне же за нее выговор сделали – что я пьяных баб в цирк привожу... Так и я ей от места отказала. А она так на меня кричала – конюхи ее силой с циркового двора вытолкали.

– И больше ее в цирк не пускали?

– Нет, не пускали, у нас с этим строго. Вот она от злости могла собачек отравить. Только ее бы ни за что не пустили...

Больше мадмуазель Мари ничего рассказать не смогла. И Лабрюйер побрел обратно в ателье.

Там он сцепился с Каролиной из-за сущей ерунды и довольно злобно отправил ее в лабораторию – печатать цирковые карточки. Сам пошел прогуляться и вскоре обнаружил, что прохаживается взад-вперед от Андреевской церкви до угла Александровской и Столбовой – и обратно. Причем ходит по четной стороне улицы – а «Франкфурт-на-Майне» – на нечетной, и потому Лабрюйеру издали лучше видно, какие автомобили и экипажи подъезжают ко входу в ресторан и гостиницу.

Это не было обычным легким помутнением рассудка по случаю влюбленности и обычного мужского интереса к красивой женщине.

Совсем недавно Лабрюйер испытывал нечто подобное – когда видел Валентину Селецкую и слышал ее прекрасный голос. Но с Селецкой не получилось – ему нечего было предложить женщине, да и само чувство оказалось кратковременным. А душа ждала продолжения, душа была готова продлить знакомое безумие, для чего ей, душе, требовалась женщина.

Не Валентина, так госпожа Красницкая, на кого-то же нужно израсходовать все, что накопилось...

Копилось давно – с той весны, когда строгая Юлиана позволяла целовать себя в губы и обнимать за талию, а все прочее – только после свадьбы. Она была слишком добродетельна, чтобы выходить замуж за человека, оставившего службу и искавшего утешения в вине, мадере и водке. Потом, конечно, были какие-то женщины, в бытность репетитором при двух балбесах-гимназистах Лабрюйер ненадолго сошелся с их маменькой, не обращавшей особого внимания на его пьянство. Но – все не то, все не то, в чем выплескивается душа...

Видимо, с тех времен накопилось столько, что на Селецкую был израсходован лишь верхний слой, а все прочее дождалось Иоанны д'Арк. И это выглядело язвительной насмешкой судьбы – Валентина по крайней мере не была связана с жуликами и мошенниками.

Если бы кто сказал Лабрюйеру, что его настигла и оглушила любовь с первого взгляда, он бы не поверил. Такие страсти в пору гимназистам, ему же – сорок лет, и дамская анатомия для него тайны не представляет.

Поставив себе почти врачебный диагноз «накопление мужской неудовлетворенности», Лабрюйер добавил к нему пару слов на том русском языке, который используют пьяные сапожники, и пошел к цирку. Целенаправленно пошел! Был у него в тех краях один давний источник сведений. Осведомитель по фамилии Паулс жил в доходном доме на углу улицы Паулуччи и Мариинской. Не так чтобы близко к цирку, но, возможно, кто-то по соседству сдает комнаты цирковым артистам, и можно потянуть за ниточку.

Мысль оказалась верной – осведомитель по старой памяти дал адресок. Пожилая вдова обычно сдавала жилье студентам – буквально в трех шагах был Политехнический институт, огромное мрачное здание, в котором Лабрюйеру доводилось бывать по делам о студенческих безобразиях. Но сейчас вдове повезло – у нее снял комнату жонглер Борро, уходивший в цирк рано утром и приходивший после представления. Жонглер мечтал о европейских и американских турне, а потому репетировал, сколько хватало сил. У нее и до того иногда жили артисты, дарили вдове контрамарки на галерку, и она кое-кого знала из цирковых служителей.

Лабрюйер радостно поспешил к ней – пока не стало слишком поздно для визитов. Вести следствие ему нравилось, и он даже пожалел вдруг, что не послушался мудрого совета Аркадия Францевича Кошко и не вернулся в сыскную полицию. Кому и что он доказал тем, что сделался фальшивым владельцем фотографического ателье?

Оказалось, что не только вдова дома, но и постоялец. Было с кем поговорить! Хозяйка впустила гостя в комнату, а там Лабрюйер обнаружил не только Борро (жонглер сидел за столом, держа руки в кухонных мисках), но и борца Штейнбаха.

– О, как занятно! – воскликнул Штейнбах. – Развлекаетесь поисками собачьего отравителя?

И тут же засыпал Лабрюйера веселыми вопросами. Отвечать на них было мудрено – борец резвился, как дитя на лужайке, перескакивал с темы на тему, и в конце концов Лабрюйер сам удивился – какого черта он носится по городу из-за покойных собак?

Жонглер молчал. Только с большой неохотой объяснил – у него на руках трещины между большими и указательными пальцами, в тех местах, куда приходят подброшенные кольца, и эту беду нужно лечить особыми ванночками.

Поговорили и о мадмуазель Мари.

– Предлагаю пари. Собак отравила изгнанная пьянчужка, – сказал Штейнбах. – А с нее какой спрос?

– Как она могла это сделать?

– Вы не цирковой человек, господин Лабрюйер. Несколько раз в день ворота, выходящие на Парковую улицу, отворяются. Нужно привезти корм для животных, нужно вывезти

всю грязь с конюшни. Человек, поставивший перед собой цель, просто сядет напротив ворот и будет ждать. Потом проскользнет и спрячется во дворе, это несложно. Пьянчужка наверняка знает всякие закоулки. Считаете, что это слишком просто?

– Это нужно доказать, – буркнул Лабрюйер.

– И что, вы поведете пьяную тетку в суд? Возместить ущерб она все равно не сможет. В итоге – потраченное время, и ничего более.

Но господин Штейнбах не знал, какие мысли клубились в Лабрюйеровой голове.

Лабрюйер осознавал, что погоня за отравителем – на четверть из сострадания, на три четверти от скуки. Но цифры поменялись – теперь осталась четверть сострадания и четверть скуки, но половина принадлежала упрямству. Очень захотелось переупрямить веселого борца.

Он сказал, что версию о пьянчужке, естественно, рассмотрит, но и прочие не отбрасывает. У мадмуазель Мари прехорошенькие ножки – может статься, кто-то из служителей на них заглядывался и был обижен пренебрежением.

– Нашли же вы себе игрушку, – заметил Штейнбах.

– По старой памяти, исключительно по старой памяти. Я же более десяти лет в полиции прослужил. Это въедается в плоть, кровь и даже кости. А результаты я передам бывшим сослуживцам. Готовить дело для суда – не моя забота.

Прямо при Штейнбахе Лабрюйер допросил Борро. Жонглер ничего не знал, кроме своих мячей, булав и колец. Заметил, правда, что мадмуазель Мари ссорилась с кем-то из борцов – что-то ей сказали вслед неприличное, и она дала сдачи. Пожалуй, это не было ничтожкой.

Потом Лабрюйер вернулся в фотографическое ателье. Каролина трудилась в поте лица, пропуская через сушильный аппарат тысячу двести карточек. Зрелище было трогательное.

– Хотите ужинать? – спросил Лабрюйер. – Могу угостить.

– Если где-нибудь поблизости, душка.

– Хм... «Франкфурт-на-Майне»?

– Я там еще не была, и приличные женщины в такие места не ходят!

– Вы же не одна, а с кавалером.

Подумав, Каролина согласилась.

Лабрюйер хотел, чтобы она поглядела, как одеваются рижанки. Одно дело – когда Каролина, суется возле аппарата, сильно напоминающего средневековое осадное орудие, покрикивает на клиенток, чтобы не двигались и не моргали, а другое – когда она получит возможность хотя бы спокойно рассмотреть со вкусом одетых дам.

Вскоре они уже сидели в ресторане.

Каролина действительно немного смутилась – ее блузка с огромным бантом на груди выглядела уж слишком нелепо. Лабрюйер оглядывал зал в поисках хорошеньких женщин, и вдруг окаменел.

Чета Красницких опять была здесь.

При мысли, что сейчас Иоанна д'Арк повернется и увидит его в обществе страшилища, Лабрюйер чуть не сбежал.

Красницкие сидели за два столика от него, в обществе немолодого офицера. Подошел официант, склонился над столом, чтобы заменить тарелки, офицер откинулся назад, Лабрюйер увидел его лицо и удивился – это был знакомец, военный инженер Адамсон.

Они познакомились, когда Лабрюйер нанялся в церковный хор и пел в храме Петра и Павла, что в Цитадели. Тогда он всех гарнизонных офицеров знал по крайней мере в лицо, а с Адамсоном познакомился так – инженер вздумал из лютеран перейти в православные и часто бывал в церкви, беседовал с иереями, пробовал даже петь в хоре, но вскоре энтузиазма поубавилось, и он, покрестившись, стал обычным прихожанином.

Лабрюйер вытянул шею, стараясь разглядеть погоны серебряного галуна с красными просветами, с эмблемой – перекрещенными серебряными лопатой и киркой. Ему было любопытно – поднялся ли Адамсон по служебной лестнице. Был, помнится, штабс-капитаном с четырьмя звездочками на погонах, а теперь что же? Ни одной? Значит – капитан.

Господин Красницкий встал и прошел в направлении мужской комнаты.

– Вот он, – шепнул Лабрюйер Каролине. – Тот мошенник, который прибыл сюда на гастроли... Его бы снять на карточку...

– Живет здесь? – осведомилась Каролина.

– Насколько знаю, здесь, но собирается снять квартиру.

– Я что-нибудь придумаю. Если эта дамочка пойдет в дамскую комнату, я – за ней...

– Понятно.

– А у офицера-то губа не дура...

Каролина сидела так, что хорошо видела Иоанну д'Арк. Лабрюйер же нарочно повернулся, чтобы ее не видеть вовсе.

– Воспользовался тем, что муженек сбежал, и ручку целует... – продолжала Каролина. – Смотреть противно. Как только уважающая себя женщина позволяет целовать руку? Это же унижительно.

– Почему унижительно? – удивился Лабрюйер. Он много всяких глупостей услышал от Каролины, но такое прозвучало впервые.

– Ну как же? Мужчина этим говорит: ты настолько ниже меня, что я могу целовать тебе руку без всякого ущерба для своего самолюбия!

Понять такую логику Лабрюйеру было не дано.

Тем более, что в голове у него складывалось иное логическое построение.

Иван Иванович Адамсон живет на одно офицерское жалованье. Проиграть мошеннику, значит, он может только это жалованье. Ну, если втянется в игру и войдет в азарт, то наберет долгов. И все равно – получится не та сумма, с которой мошенник международного уровня станет связываться. Украсть у Адамсона тоже нечего. Так на кой он сдался Красницкому?

Могло ли быть так, что они – просто давние знакомцы? Встретились в Риге, решили поужинать вместе, и Красницкий запросто оставил жену с приятелем, удалившись в мужскую комнату...

Но, позвольте, что можно делать в мужской комнате чуть ли не четверть часа?

Не зря Лорелей называла Лабрюйера ищейкой. Полицейская закваска была в нем неистребима.

– Фрейлен Каролина, мне это не нравится, – шепнул Лабрюйер. – Пойду-ка я посмотрю, куда этот муженек подевался. А вы не спускайте глаз с госпожи Красницкой.

Каролина кивнула.

Тут некстати появился официант с подносом.

Лабрюйер заказал хороший ужин – «зауэрбретен», тарелку пирожных «кремшнитте», чай. Когда перед ним поставили этот самый «зауэрбретен», он даже немного растерялся – четыре толстых ломтя нежнейшей говядины, которую перед тем, как жарить, три дня мариновали в вине, гора картофельных клецок, залитых особым соусом с изюмом, имбирем и свекольным сиропом, сбоку – обжаренные яблочные кубики, и вид у блюда такой, что, кажется, обычному человеку дня на три хватит.

А вот Каролина уставилась на свою тарелку с огромным интересом.

– Приятного аппетита, – сказал ей Лабрюйер и встал из-за стола.

Проходя мимо госпожи Красницкой и Адамсона, он видел плешь на затылке военного инженера, склонившегося к даме с самым трогательным видом.

– Старый дурак... – пробормотал Лабрюйер. С одной стороны, нужно было предупредить Адамсона, а с другой – не спугнуть бы мошенников. Решив, что все равно этой пароч-

кой будет заниматься Линдер, Лабрюйер как можно быстрее прошел мимо и, выйдя из зала, направился к мужской комнате.

Красницкого там не было.

Тогда Лабрюйер отыскал буфетчика Юргена Вольфа. Тот спросил двух официантов, и оказалось, что Красницкий вообще, не завершив ужина, поднялся к себе в номер.

Озадаченный Лабрюйер вернулся в зал.

Нужно было поскорее передавать парочку Линдеру, пока она чего-нибудь не натворила.

Додумать до конца сложную мысль о Линдере, Красницком и Лорелей, которая заслуживает благодарности за то, что навела на мошенников, он не успел – изумился, глядя, как быстро и сосредоточенно поедает «зауэрбротен» Каролина. Он бы не мог с такой скоростью одолеть три ломтя мяса из четырех и добрую половину клецок.

До сих пор он не видел фотографессу за столом. Оказалось – она знатная обжора.

Сев и расстелив на коленях салфетку, Лабрюйер взялся за еду так, как иные – за непосильный и плохо вознаграждаемый труд. Однако тарелка была спасением – глядя на мясо, клецки и обжаренные яблоки, Лабрюйер не видел Иоанну д'Арк...

А она вдруг встала и вышла из зала. Адамсон приподнялся над стулом да так и замер в нелепой позе.

– Смотрите, смотрите... – шепнула Каролина. – Дамочка-то сбежала...

Однако Иоанна д'Арк снова появилась в дверях.

Она поднесла руку к лицу и сделала несколько странных движений – три пальца к губам, провела пальцем под носом, еще раз провела, свела большой и указательный в колечко, быстро соединила обе руки, потом сделала известный жест, означающий «все замечательно». И тогда только ушла.

Вся эта пантомима заняла хорошо если две секунды.

– Видели? – спросил Лабрюйер Каролину.

– Еще бы...

– Что это такое было?

– Понятия не имею. Знаки какие-то...

– Адамсону? Но какого черта?

– Кому?

– Вон тому, в мундире, ухажеру, будь он неладен...

– Да-а, ему бы она назначила свидание иначе.

– Почему вы решили, что речь о свидании?

– Так или предупреждают, или встречу назначают. А ему она могла и словами сказать.

– Кого же она могла тут предупреждать? И о чем?

Лабрюйер опять подумал, что нужно бы поскорее сдать мошенников с рук на руки Линдеру.

Он встал и оглядел зал. Там ужинала солидная и почтенная публика, если дамы – то со спутниками, мужчинами, у которых на лбу было написано: имею деньги и отличную репутацию.

Вслед за ним то же самое проделала и Каролина.

– Какая красавица... – вдруг прошептала она.

– Где?

– Вон там, у окна.

Лабрюйер нашел взглядом даму и понял – вторую такую не скоро сыщешь. Это был тип русской красоты в максимальном ее проявлении: пышные русые волосы, разделенные на прямой пробор и обрамляющие безупречное лицо великолепными волнами; и не просто лицо, а округлый лик чернобровый и темноглазый молодой боярыни с картины Маковского; впрочем, живописью Лабрюйер мало интересовался и исторического сходства не заметил.

Но обратил внимание на статью и на особые очертания высокой груди – такую издавна называли «лебединой». Дама была замужняя, визави с ней сидел мужчина лет сорока, самой достойной внешности.

– Да, красавица, – согласился Лабрюйер и вдруг понял: Каролина отчаянно завидует этой роскошной даме. Иначе – зачем бы глядеть на нее, не донеся вилку до полуоткрытого рта?

Меж тем Адамсон сел за стол и принялся доедать ужин. Несколько минут спустя в залу вошел Красницкий, вернулся к своей тарелке и принялся тихонько совещаться с военным инженером. Наконец оба завершили ужин и ушли.

– Ваш «зауэрбротен» остыл, душка, – сказала Каролина.

– Ничего страшного.

Лабрюйер доел мясо, потому что осилить клецки был уже не в состоянии. Он посмотрел на идеально пустую тарелку Каролины и даже позавидовал ее прекрасному аппетиту. Но если фотографесса столько ест – отчего не толстеет?

– Уже поздно, я провожу вас, – сказал он.

Оказалось, сестрички-швейки, Марта и Анна, другой радости в жизни не имеют, кроме как следить – когда развратная Каролина возвращается домой. Лабрюйер проводил Каролину чуть ли не до двери и слышал, как хлопнула другая дверь – сестрички, подглядывавшие в щель, испугались и спрятались.

– С этим надо что-то делать, – сказал он Каролине. – Как бы они не увидели чего лишнего. Я поговорю со своей квартирной хозяйкой – может, устроим вам переезд.

Он уже настолько привык к своему страшилищу, что допускал возможность проживания под одной крышей.

– Да, съезжать отсюда придется, – согласилась Каролина.

Вид у фотографессы был усталый – или же ее просто тянуло в сон от обжорства.

Простившись с ней рукопожатием, как положено с эмансипэ, Лабрюйер вышел на Александровскую. Накапывал дождь – даже не совсем дождь, в воздухе висела водяная пыль да сверкали отражениями фонарей тротуары. Лабрюйер мог бы пройти двором на Гертрудинскую и, срезая углы, – к своему жилищу. Но отчего-то встал напротив «Франкфурта-на-Майне». Там начиналась бурная ночь – с музыкой, карточными сражениями в номерах, шампанским в серебряных ведерках, накрашенными женщинами...

– «Маленький Париж», будь он неладен... – пробормотал Лабрюйер. Все правильно, подумал он, где Париж, там и Иоанна д'Арк... каков Париж, такова и Иоанна д'Арк...

Он пошел по Александровской в сторону Столбовой, чтобы, обогнув квартал, выйти к своему дому. Была тайная надежда – встретить кого-то из знакомых, чтобы поговорить о погоде и тем ввести себя в полусонное состояние. Но те немецкие семейства, с которыми он уже начал раскланиваться, улыбаясь почти искренне, на променады не вышли.

На углу Столбовой он остановился, чтобы проводить взглядом автомобиль, несущийся в сторону Старого города. Лабрюйер не был любителем техники, но этот автомобиль был похож на «Руссо-Балт» Вилли Мюллера – и, возможно, сам Вилли, сумасшедший шофер (как бывают сумасшедшие мамы, так случаются и мужчины, отдавшие душу и сердце колесному средству передвижения), носится по Риге, наслаждаясь скоростью и покорностью лошадиных сил, бьющих копытами под капотом.

«Руссо-Балт» пролетел мимо, а на противоположной стороне Александровской Лабрюйер увидел одинокую женскую фигурку, которая не двигалась шагом и не бежала, а тоже, кажется, летела, чуть наклонившись вперед, в сторону Матвеевского рынка. Она попала в круг света от фонаря и понеслась дальше. За эти полтора мгновения Лабрюйер успел узнать профиль.

Стало быть, пока господин Красницкий сидит в номере, госпожа Красницкая отправилась на поиски приключений.

Тайные знаки, очевидно, адресовались любовнику. Отчего бы, в самом деле, молодой авантюристке не завести в Риге красавчика любовника? Муж у нее статный, представительный мужчина, а любовник, возможно, тоненький и горячий студент политехнического института, неременный член студенческой корпорации, мастер на всякие веселые безобразия (тут Лабрюйер вспомнил, как вместе с профессором Морусом разбирался в истории с коровой; кто-то из институтских бездельников додумался приехать на занятия верхом на корове, привязал ее к фонарному столбу у входа в *alma mater* и исчез; товарищи затейника его не выдали, а кого-то же следовало посадить в студенческий карцер под самой крышей хотя бы на трое суток).

Лабрюйеру было совершенно безразлично, к кому на свидания бегают во мраке эта женщина. Совершенно безразлично. Совершенно безразлично. Он пошел следом только потому, что ему был необходим после сытного ужина приятный променад. Ужин ведь оказался более чем сытный, нужно заботиться о своем пищеварении и хотя бы четверть часа погулять, хотя бы четверть часа... неторопливым шагом, сказано тебе, не-то-роп-ли-вым шагом!.. Спешить некуда. Дождь еще не хлещет, как из ведра!

Но летела по той стороне улицы Иоанна д'Арк – и Лабрюйера понесло, успевай только перебирать ногами. Прохожих было мало, он видел ее силуэт, то возникающий под фонарем, то пропадающий. Вдруг она обернулась – и словно замерла в полете. Замер и он.

Милостивый Господь послал тут очередной рычащий автомобиль, он закрыл собой женщину и вдруг остановился. Лабрюйер резко повернулся и пошел назад, словно был во власти наваждения – и вот оно сгинуло. В голове крутилась мысль: «Узнала или не узнала?»

Время было такое, что приличный человек не совершает визитов. Но фрау Вальдорф, с которой следовало завтра поговорить о комнате для Каролины, встретила его на лестнице.

Она долго и старательно благодарила за фотографические карточки, на которых фрейлен Ирма – настоящая красавица. Лабрюйер только дивился – как это Каролине удалось изготовить из унылой старой девы красавицу? Тут фрау Вальдорф очень вовремя ввернула сведения о хорошем приданом фрейлен Ирмы, и он вспомнил о смешном предупреждении от жены дворника Круминя.

– Фрау Вальдорф, помнится, вы говорили о квартирке на пятом этаже? Помните, которую нанимал скрипач из немецкого театра? – спросил он. – Он съехал или все еще там живет?

– Я его предупредила – если не будет платить за месяц вперед, пусть ищет другое жилье, герр Гроссмайстер.

– У меня есть для фрау жилища, которая будет платить аккуратно и за два месяца вперед, если угодно.

– Жилища?

– Да, это молодая дама, которая работает в моем фотографическом заведении. Я ее выписал из Москвы... да фрау же ее знает! Это она сделала такие чудные карточки для фрейлен Ирмы! – воскликнул Лабрюйер.

Теперь фрау Вальдорф некуда было деваться – сама же она рассыпалась в благодарностях фотографессе.

– Отчего же эта фрейлен решила вдруг поменять жилье? – проницательно спросила догадавшаяся о незамужнем состоянии Каролины фрау Вальдорф.

– Тогда я снял для нее первую попавшуюся комнату, все пришлось делать очень быстро. А теперь... теперь, когда я убедился в ее мастерстве... словом, я хочу, чтобы она жила в хорошей квартире... – под внимательным взглядом домовладелицы Лабрюйер несколько смутился и наконец задал себе вопрос: отчего почтенная дама в такое время мыкается на лестнице?

Похоже, фрау всерьез взялась за брачную интригу. Этому следовало положить конец. Но не сейчас! Иначе придется искать другое жилище для Каролины.

– Да, та квартира на пятом этаже – хорошая квартира, – согласилась фрау Вальдорф. – Но она освободится не ранее чем через две недели. Условия мы могли бы обсудить у меня в гостиной за чашечкой хорошего кофе.

Нетрудно было догадаться, кто блеснет мастерством заваривания кофе...

– Я пришлю вам отличный кофе и все, что к нему полагается, – сразу пообещал Лабрюйер.

У себя в жилище он хотел было почитать на сон грядущий книжонку с приключениями замечательного сыщика Ната Пинкертон, но передумал. Обычно ему доставляло удовольствие вылавливать огрехи автора, но сейчас и удовольствия не хотелось. Лабрюйер решительно лег спать, полагая, что по меньшей мере полчаса будет ворочаться и кряхтеть, но очень скоро заснул.

Среди ночи он вдруг проснулся – ни с того ни с сего. Обычно он спал крепко, не меньше семи часов, но тут – словно кто с силой толкнул в бок.

На грани сна и яви бывают странные прозрения, чудится несуразное, которое уже вплелось в будничное, но тает, тает, цепляешься за последний осколочек, а его уже и нет.

Во сне Лабрюйер начал петь, но только начал. Что это такое было, думал он, что это такое было? Романс? Романс. Старый романс, который наяву ни разу не был пропет, иначе бы вспомнился без затруднений. И довольно сложный романс – такую мелодию еще не сразу в голову уложишь.

Мучаясь бессильем, Лабрюйер мычал, стараясь составить хотя бы отдаленно похожую музыкальную фразу. Вдруг получилось! И дальше потекло, потекло, заструился в голове стремительный ручей, засеребрился, плеснул – и улетел в бесконечность.

Но Лабрюйер узнал романс.

Он действительно никогда этого не пел и даже разучить не пытался. Как-то не сложилось у него дружбы с Римским-Корсаковым. Но романс был где-то подслушан. Может, вообще – с граммофонной записи в голову залетел.

И ведь угнездился там весь, целиком, даже какие-то слова ложились на мелодию, а мелодия, особенно к финалу, была какая-то неудобная, особенно – где повторялись две последние строки; мучительная была мелодия, словно идешь с завязанными глазами по торчащим из воды камням, чуть оступился – и плюх!

Лабрюйер сел, нашарил на прикроватной тумбочке спички, зажег, посмотрел на будильник. Ровно три часа ночи.

– Старая дурная голова, – сказал он себе по-немецки и повторил по-русски: – Старый дурак!

Он проснулся, логика сна покинула его голову, сознание вернулось – и одновременно нахлынуло легкое безумие. Лабрюйер понял, что должен сейчас же, сию минуту, спеть этот треклятый романс.

Выкинуть внезапную дурость из головы не удавалось.

Если бы это был романс, который уже приходилось петь, Лабрюйер исполнил бы его себе в четверть голоса и преспокойно завалился спать дальше. Но мелодия в голове двоилась и, похоже, троилась, как будто внутренний певец сперва пытался исполнить партию первого голоса, потом – второго, потом и вовсе аккомпанемент в чистом виде. Это было невыносимо.

Лабрюйер встал, зажег свечу в мельхиоровом подсвечнике и побрел к этажерке.

Как у всякого более или менее образованного человека, у него была этажерка с книгами, среди них имелись и немецкий молитвенник, чье-то наследство, и пара словарей, и два тома сочинений господина Чехова, из тех, что выпускались приложением к «Ниве», и похождения Пинкертон. На самой нижней полке была упихана лохматая стопка нот – и

типографской печати, и собственноручно переписанных, и купленных, и взятых у кого-то десять лет назад на пару дней.

Лабрюйер выволок все это богатство, шлепнул на стол, два раза чихнул и стал перебирать пыльные листы. Он знал, что нужного романа там быть не должно, он хотел утихомирить внутреннего певца, которому вынь да положь сольный концерт посреди ночи.

Романс нашелся. Лабрюйер прочитал ноты, подивился сложности финала и, преисполнившись неожиданной радости запел – не во всю мощь глотки, а так, как поют в небольшом помещении, под дешевую гитару, для маленькой компании:

Звонче, жаворонка пенье!
Ярче, вешние цветы!
Сердце полно вдохновенья,
Небо полно красоты!

За окном была осень, промозглая балтийская осень, которая может затянуться и до середины января.

Разорвав тоски оковы,
Цепи пошлые разбив... —

радостно пел голос, а Лабрюйер не понимал: что еще за пошлые цепи?

Набегает жизни новой
Торжествующий прилив...

Вот прилив был – его высокая волна подхватила душу и вскинула ввысь – для последнего куплета.

И звучит свежо и юно
Новых сил могучий строй,
Как натянутые струны
Между небом и землей!

Пауза. Лабрюйер вспомнил эти струны – он их видел однажды, но не услышал их музыки, зато увидел архитектуру: небо опиралось на светлые тонкие столбы.

Как натянутые струны
Между небом и землей...

Получилось! Он ни в одной ноте даже на восьмушку тона не сфальшивил, он знал это, он рассмеялся он восторгу. Потом опомнился.

Когда сорокалетний мужчина в три часа осенней ночи принимается петь незнакомые весенние романсы, похоже, пора записываться к доктору Каценеленбогену, который, говорят, учился к самого знаменитого Шарко и знает толк в безумствах.

Вдруг пришло спокойствие – которое приходит обычно к человеку, сделавшему то, что он обязан был сделать.

Лабрюйер задул свечу, лег и сразу же заснул.

Глава шестая

Утром Лабрюйер сам себя спросил: что это было такое? Но выслушать ответ не пожелал.

Придя в свое фотографическое заведение, Лабрюйер сказал Каролине:

– Я чувствую себя последним болваном.

Это относилось ко всему сразу – и к ночному концерту, и к странному положению сотрудника контрразведки, который не получает никаких приказаний. То-то, поди, смеется недруг Енисеев, проклятый Аякс Саламинский, когда ему рассказывают о нелепой службе Лабрюйера!

Каролина, складывавшая карточки стопками, подняла голову, взгляды встретились.

– Я тоже, – сказала она. – То есть не болваном – болванкой, болваншей... болванихой...

– Мы чего-то ждем?

– Нет. Уже дождались. Люди, с которыми придется иметь дело, уже в Риге. Но они осторожничают, прицепиться не к чему... Они еще только начали плести сеть...

– Понятно.

Взгляд у фотографессы был серьезный, даже печальный. Лабрюйер впервые обратил внимание на ее глаза – при светлых волосах она имела темно-карие глаза в густых ресницах.

– Я устал бездельничать.

– Ничего, скоро начнется.

Лабрюйеру стало не по себе – страшенькая фрейлен Каролина была, может, бойцом еще похлеще Енисеева, и близился день, когда ей придется рисковать жизнью... ох, бедное страшилище, и помрет ведь когда-нибудь, так и не узнав душевного тепла... как, впрочем, и сам Лабрюйер...

– Кто там записан в вашем гроссбухе? – спросил он.

– На утро – никого нет, разве что случайные люди забредут.

В лабораторию вошел Ян.

– Доброе утро, господин Гроссмайстер, доброе утро, фрейлен Каролина, – сказал он по-немецки. – Что мне делать?

И тут же Каролина придумала для него полсотни неотложных дел. Одно из них было – приготовиться к завтрашней вылазке.

Рига, желая быть подлинно европейским городом, обзавелась зоопарком. Место для него городские власти выделили прекрасное – на самой окраине, в Кайзервальде, на берегу озера Штинтзее. Это было великое событие, в день открытия, назначенного на 14 октября, ожидалось множество народа, и Каролина предположила, что будет хороший спрос на зоологические фотокарточки. Вся живность уже сидела в клетках, так что можно было, уговорившись с дирекцией, заранее сделать разнообразные кадры.

– Я пройду прогуляюсь, – сообщил подчиненным Лабрюйер. – Заодно занесу карточки Линдеру.

Но это не было прогулкой – он собрался в цирк расследовать дело о собачьей смерти. От цирка – пять минут до Полицейского управления.

Каролина дала ему портреты госпожи Красницкой, очень хорошо сделанные и вписанные в овальные медальоны. Было их четыре. Себе она оставила два – чтобы переслать их в Санкт-Петербург. И попросила также Лабрюйера, раз уж он хорошо знаком с буфетчиком во «Франкфурте-на-Майне», побольше узнать о чете Красницких. Глядишь, что-то и пригодится.

Телефонировав Линдеру, Лабрюйер предупредил о своем приходе и осведомился – нет ли результатов исследования собачьего трупа.

– Обычный крысиный яд, – сказал Линдер. – Он в каждом доме, наверно, имеется. Нет чтоб экзотика, рыбина японская, которая вроде русской рулетки – то ли отравишься, то ли нет.

– Какая рыбина?

– Я в газете читал, названия не помню, а только от нее задыхаются, как от синильной кислоты.

В цирке Лабрюйер отыскал конюха Орлова и предложил посидеть вместе в ближайшем пивном погребок. Очень хотелось еще раз проговорить все подробности дела и потолковать о кандидатах в убийцы.

– Отчего бы нет? – почти сразу согласился конюх. – Есть погребок на Парковой улице, куда наши ворота выходят. Вот приберусь, вывезу навоз, умоюсь – и тут же прибегу.

– Тут же? – усомнился Лабрюйер.

– Ну да, через двор пройду. Попрошу – мне ворота приоткроют, чтобы не вокруг квартала галопом скакать.

– Так пойдем сразу вместе.

– И то дело. Вы меня в шорной обождите.

Но Лабрюйер не стал торчать в шорной. Ему было любопытно исследовать все подступы к конюшне и ныне пустой собачьей загородке. На манеже репетировали, в форганге тоже, туда он соваться не стал.

Он заглянул во все доступные закоулки, исследовал выходы из закулисья в фойе и не сумел справиться с соблазном – пошел к помещению, где упражнялись борцы и атлеты. Там было тихо – значит, пока что пусто. Лабрюйер, как всякий здоровый мужчина, хотел попробовать потягать железо – хотя бы гирию-пудовку, убедиться, что он еще ого-го. Он даже расстегнул пальто, собираясь скинуть его.

Но в помещении были двое мужчин. Один резко повернулся к Лабрюйеру, другой – так же резко отвернулся.

– Это вы, господин Лабрюйер? – спросил атлет Штейнбах. – Добрый день. Все еще ищите собачьего убийцу? Бросьте. Как я понимаю, это еще можно было сделать по горячим следам. А сейчас – бесполезно.

– Боюсь, что вы правы, господин Штейнбах. Но я люблю решать сложные задачки, – ответил Лабрюйер из чистого упрямства. – Извините, что побеспокоил.

И он вышел.

Некоторое время спустя конюх Орлов освободился, и вскоре Лабрюйер с конюхом уже спускались в пивной погребок. Время было еще не пивное, заведение только что открылось, парень за стойкой явно скучал.

– Две кружки бауского пива, светлого, – приказал Лабрюйер и тогда только обратил внимание на мужчину у стойки, толковавшего с хозяином и вдруг замолчавшего.

– Добрый день, господин Барсков, – сказал он. – Какими судьбами?

– Добрый день, господин Гроссмайстер, – ответил владелец пивоварни. – Новый сорт пива собираюсь предложить, привез бочонок на пробу. Хотите? Угощаю. Две кружки из нового бочонка!

Парень за стойкой напенил в большие стеклянные кружки пахучего пива, Лабрюйер сдул пену и пригубил.

– Любопытно... – произнес он.

– Моим мастерам удалось составить такую смесь из дорогих сортов хмеля, что сами удивились. Я задумал плотное пиво, крепостью чуть выше, чем обычное светлое, – сказал господин Барсков. – Вот думаю – как назвать? «Пиво мастеров» – что скажете? Хорошее название?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.